

18+

НИКИТА
РОТАРУ

Molchat
Volny

Никита Ротару

Molchat Volny

Антироман о тонущих

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Дизайнер обложки Даниил Лысов

© Никита Ротару, 2026

© Даниил Лысов, дизайн обложки, 2026

Действие происходит в 2010 г. в неназванном российском мегаполисе. Безымянный юноша, которого в различных кругах неизменно называют Моряком, незадолго до совершеннолетия проходит через утрату старшего брата. Моряк вооружается культурным наследием, оставленным неординарным братом, и сталкивается с типичными вызовами едва ставшего взрослым человека — вуз, безденежье, азарт и любовные страсти... Сможет ли молодой ум перебороть зрелое горе?

18
+

ISBN 978-5-0067-2433-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

Molchat Volny.

Часть I: Воспоминания

Воспоминание 1

Воспоминание 2

Воспоминание 3

Воспоминание 4

Воспоминание 5

Воспоминание 6

Воспоминание 7

Часть II: Вопросы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Посвящается морям — внутри и снаружи

Часть I: Воспоминания

Воспоминание 1

«Я так люблю спать... Как ты думаешь, на небесах спят? Если нет, то я не пойду»

Мартин Макдонах, «Человек-подушка»

— Куда ты там идёшь в воскресенье?

— А тебе какая разница?

Она умела играть на нервах, когда бывала чем-либо задета.

— Наверное, разница есть.

— А Бога — нет...

Я прыснул было с дежурной юморески, но тут же вернул себе собранный вид.

— Серьёзно, ты что-то незаконное задумала?

— Нет, но это и не твоё дело.

Вздыхнул. Говорили мы по телефону — Ягдра, мой товарищ и первый помощник капитана — раздал интернет, который лично у меня давно закончился из-за постоянных обновлений *плагинов*.

— Всё разрушается твоими руками, солнце.

— А мне кажется, что наоборот, твоими.

Это был первый раз, когда Она что-то от меня старательно скрывала.

— Я ревную.

— Да что ты. Всё равно через два месяца свидимся, а?

— Вернусь, а ты беременная.

— Может, я уже...

Здесь мои щёки загорелись.

— Шучу, не напрягайся.

Фух...

— И всё же. Мне попросить общих знакомых за тобой проследить?

— Можешь, но мне это будет оскорбительно.

Ягдра, слушавший всё это по громкой связи — на нашем корабле нет секретов от коллег по палубе, завет такой (мало ли, случится смертоносный шторм, нужно знать о близких каждого), — тихонько хихикал то и дело.

— Ты до сих пор ничего не скрывала, поэтому я напрягся.

— Ну, расслабься, что тут скажешь.

Здесь шхуна накренилась так, что мой телефон слетел со стола. Связь пропала, разговор прервался.

— Напомни, что ты в ней нашёл? Мозги делает только так. — Протянул Ягдра.

Рослый качок, любящий Шекспира и подаривший мне карманную Библию, которых у него зачем-то несколько штук, — Ягдра был прямолинейной и обаятельной язвой.

— Не знаю, любим мы друг друга. — Кинул я в ответ.

— И теперь она задумала крутить какие-то мутные шашни, пока ты здесь, на другом конце земли.

Испытующе взглянул на меня, и я поддался.

— Если ты намекаешь на откровение, на то, чтоб я выложил всю историю наших взаимоотношений, то не в этот раз, — беззлобно улыбнулся. — Просто... мне важно знать, что с ней всё в порядке, как и ей обо мне то же.

— Когда-нибудь я постигну весь лор...

— Ягдра!

Клич Капитана — мужика с одним глазом, почти пирата по наружности и, в общем-то, по содержанию — выдернул моего товарища из праздной болтовни. Ягдра выметнулся из каюты, оставив меня в одиночестве.

Трудно, видая мир, остаться моногамным, но мне удаётся. С Её стороны — домашней, едва не затворнической — новые знакомства могут быть полезны.

«Пусть ищет себе друзей» — рассудил я своих демонов. За окном каюты стояла ночь, и над тихо качающимися волнами нависло полуприкрытое око луны. Она подмигивала мне, казалось, издевательски и в то же время понимающе. Серые хлопья облаков — перистые вблизи, грозовые вдалеке — наводнили иссиня-чёрные небеса, и невидимый-неведомый Господь готовился сыграть луной в крикет.

Я поднял телефон с пола и сделал фотографию. Вдалеке от городов, в сотнях километров от цивилизации, ночное небо было ярче, и небесный контраст усиливался угольной полугладью Индийского океана.

Как снова будет так называемый свободный час, отправлю Ей. Красота, одним словом.

Воспоминание 2

«И благодаря тренировке ему не требовалось прикладывать никаких усилий для того, чтобы знать без тени сомнения: он — не кости, плоть и перья, но сама идея свободы и полета, которая совершенна по сути своей, и потому не может быть ограничена ничем»

Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

— Вы только гляньте! — Василина, женщина неопределённых лет (острый, как кромка ножа, подбородок, квадратные очки в железной оправе) размахивала двумя листками перед собравшимися. — Наш Моряк вновь написал о неразделённой любви.

По классу прошёлся ехидный смешок. Моряком меня окрестила Василина, когда я, ещё не зная о характере этих собраний, поделился с ней планами на взрослую жизнь.

— Сколько раз нужно повторить, малыш. — Якобы снисходительно обратилась она ко мне, затем торжествующе развернулась к собранию. — Это не просто дерьмовое...

На этом слове смешок порывисто перерос в гогот.

— ...клише, это целая ассенизаторская карета из китчей, бесталанных оборотов, отсутствия намёков на стиль или хотя бы сюжет. Забыла о кавычках палочками и... как ты там это называешь?

— Кучеточия.

— Ах да, кучеточия. Вот, ребята, настоящее новаторство! Маяковский бы обзавидовался... Да что там Маяковский — нас посетил новый Андрей Белый!

Безликие гиены глодали мой труп.

— Скажи, — псевдо-заботливым тоном произнесла, — ты правда хочешь стать писателем?

Нам было по пятнадцать-семнадцать всем здесь, за исключением Василины — доцента, кандидата филологических наук, в свободное время ведущей литературный кружок при моём лицее. Любимой фразой Василины была цитата Ницше — «падающего подтолкни», она же была выгравирована причудливым шрифтом над доской. Я был не в силах что-либо предпринять.

Да и что я мог? Средства мои были бедны, это верно.

— Может, тебе стоит рассмотреть другой способ выражения? — продолжала она сыпать соль. — Музыку, например...

Снова смешки. Писательство считается благородным и бедным делом — ни миллионы на съёмку и отлов кадров на кинокамеру, ни оборудование и студия, ни какая-то другая особенная подготовка не требуются. Садись, пиши — либо просто мыслишь в писательском ключе — даже этого достаточно, чтобы сотворить, настолько лениво и непритязательно это дело. Но — писательство ли, музыка, скульпторство или смешные видео не длиннее пяти секунд — всё оно, ремесло, творчество либо искусство, сводится к поиску идеальной формы, к нескончаемой попытке, к асимптотическому совершенствованию в мире, где ценятся напрасные усилия по движению к недостижимым пределам. И почему так называемые «ценители» скользят по форме, как по илистым волнам, цепляясь за ил, не пробуя и не намереваясь найти в нём, в глубинах его, в недрах волн, жемчужину? Под жемчужиной я имею в виду сияющую, как первый свет, сущность, средоточие души, центр человека как явления, идеи во плоти, потерянный и вновь найденный рай, Божью искру, в конце концов. Да, средства мои никакущие, но я

пришёл сюда за участием, не за гладиаторской ареной или аукционом Сотбис, не за азартом кровопролития, но за единением — духа, мысли. Я не имел желания быть интересным ни миллионам мух, ни тайному кругу избранных, я лишь был истерзан потусторонней жаждой жемчужин, которую пробовал утолить, и пока — по юности лет — не мог понять пресыщенных и пьяных. Отчего мы довольствуемся лишь илом в чужих творениях, разделяем их на сорта, градации по качеству, консистенции, процентному содержанию водорослей и планктона, флоры и фауны? Оттого ли, что бережём свои мысленные звёзды настолько, что опасаемся столкнуть их с Другими — ненароком вызвать взрыв — и бросаемся илом, как калом, вместо?..

— ...что скажешь? Ты здесь, с нами? Завис. — Василина позволяет себе усмехнуться и тем самым провоцирует новые волны смехов.

— Да... Вы правы. Наверное, попробую себя в музыке.

Удивлена, ножеподобный подбородок встрепенулся.

— Ты уверен? — Берёт себя в руки.

Коли так, мне остаётся оберегать свои прохладные галактики от внешнего пекла, от беспорядка и энтропии, оставаться загадкой без ответов с обратной стороны, быть вещью, но -в-себе.

— Да, я переведусь.

Молчание охватило класс — ведь литературный кружок был наиболее престижным в лицее, и покинуть его значило расписаться в своей социальной несостоятельности. Никто не уходил из него добровольно...

Позже я обнаружил, что бью кулаком по сизой ракушечно-бетонной стене лица, раз за разом, удар за ударом. Уроки давно были окончены, и не было ни единого свидетеля моей агрессии.

Конечно, не этого мне хотелось, да и музыкой заниматься лучше всерьёз — надо было в музыкальное, к частным преподавателям, на которых — опять же — необходимы средства. Мой отец — хмуроватый скряга, жена его — и моя мать — лучезарная транжира, в их тандеме не нашлось места на потребности третьего, пока ещё не полноценного, несовершенного. Я наносил беспомощные удары костяшками по ракушкам и спрашивал себя: как избавиться от проклятых асимптов, как проникнуть за грань их, чтобы идея и форма стали одним, где мне отыскать средства, чтобы отпечатать свой свет на косых облаках, на тени от них, что я хотел бы этим светом обнять, каковы масштабы грядущего светопрелития — всего этого я тогда не знал и, конечно, в момент неравного избиения — здание и сутулый парниша — думал несколько иными категориями. Мне было, сухо говоря, больно и обидно, что никто, ни одна душа, не разглядела во мне что-то этакое...

— Эй.

Так мы с Ней и познакомились. Я был разъярён и едва не плакал, а Она выходила с кружка икебаны, задержавшись. Не знаю до сих пор, примерила ли Она на себя роль спасателя, пожалев меня и выслушав, — я не стеснялся выражений — или именно в тот момент, когда я чаял хоть какой-нибудь душевной связи, судьба подкинула нас друг другу.

После я провёл Её до дома, в котором, спустя время, мы станем жить вместе.

Воспоминание 3

«What goes around — comes around, comes around...»

Justin Timberlake

Я заезжал за вещами, когда мы в очередной раз «расставались».

— И что, это всё? Последнее прощание наше? — казалось, слезы на её глазах говорили вместо неё.

— ...

Мои глаза были почти сухи, как смятый тетрапак.

(Любит она наводить драму)

— Если ты решил поиграть в молчанку, то не прокатит. Я выскажусь.

— Ну, попробуй.

Я принял стрелу её взгляда и после стал выслушивать то, что слышал N «расставаний» назад:

— Я устала всё тянуть на себе, честное слово, я как ломовая лошадка. Что за отношения, в которых один партнёр сбегает ровно тогда, когда другой в нём больше всего нуждается? Вот куда ты теперь собрался?..

(Сегодня я должен был выходить в новый рейс)

— ...лишь бы подальше от меня, да? Разбирайся, милочка, сама — и с ремонтом, и с матерью на пенсии, которая, между прочим, наша с тобой ответственность! У неё дом сгорел —

думаешь, я одна должна её тянуть? Мы так давно вместе, и я благодарна за деньги и всё такое...

— Но?

Моя ремарка вывела её из речевой прострации. Обстановка была бытово-драматичной — стоял так называемый золотой час, и её предистерическое состояние на пару с моим безразличным ожиданием окутали соломенные лучи солнца. Я ходил по дому, собирая вещи в походный рюкзак, она за мной, а за нами поспевали наши тени.

— Что?

— Ты, кажется, сказала «но».

— Я, кажется, не говорила «но»... — Замялась.

— Ты бритву мою не видела?

(Поймал ещё стрелу, возобновив тем самым прострацию)

— Да какая к чертям бритва! — Схватила за руку. — Ты не видишь, что мне плохо одной, что я не справляюсь — тебя по полгода нет дома! Может, ты там с какой-нибудь молодухой рассекаешь, а? Может, и не с одной?

Я мягко отстранился.

— Если ты разлюбил, то имей смелость меня уведомить.

Глубокий вздох...

— Всё так. Нет ни одного порта, где я бы кого-нибудь не подцепил.

— Снова клоунадничаешь?

— Нет, я предельно серьёзен.

Теперь вздохнула она. Солнце закатилось за стеклянную многоэтажку, и дома стало темнее.

— Подумай. Ты мог бы устроиться к отцу — здесь, рядышком. Жили бы вместе, я и ты. Так сдалось тебе это море?

— Ты же знаешь.

— Я не смогу так больше. — Снова слёзы. — Отмени всё, не уезжай. Я скучаю по тебе...

— Это всего лишь работа.

— Обними меня.

Пришлось обнять.

— Пообещай, что я дождусь твоей пенсии.

— Всякое случается.

— Я переживаю за тебя...

Я нетерпеливо отстранился.

— Ну, куда ты...

— Пора уж.

Закинув рюкзак на плечи, я бросил ей, как привык, негромкое «пока» и переступил порог.

Во дворе играли дети, под надзором — родителей, бабушек. Вчерашний дождь разродил асфальт лужами, ещё не успевшими испариться.

Я снял рюкзак, положил у ног и аккуратно плюхнулся в самую глубокую на вид лужу. Гражданская одежда вмиг пропиталась вкрадчивой сыростью.

Лужа оказалась совсем не глубокой.

— Мам, смотри, пьяный дядя! — Мимо прошла двоица из серолицей мамочки и её сына.

Я улыбнулся и помахал им, отчего мамочка, вёдшая сына за руку, засеменила быстрее.

Попробовал взмахнуть руками, слегка расплескав кругом мутную воду. Напротив было небо, в котором только зажигались звёзды — со шхуны, особенно в безоблачную ночь, они кажутся такими близкими, что можно рукой коснуться. Я размышлял о нашем с ней странном союзе и предвкушал рейс...

В какой-то момент я поднялся, отряхнулся, взял рюкзак и ушёл прочь, навстречу морю.

Воспоминание 4

«Все, что нужно пацану, — немного удачи. Все же есть некто, кто контролирует, чтобы все получили свой шанс»

Чарльз Буковски, «Хлеб с ветчиной»

Я сидел на складном стуле, окружённый кафелем в трещинах, под лампочкой на волоске провода, с гитарой Yamaha C-40 в руках и с недоверием глядел на протянутую мне рыжую купюру.

От владельца руки, подавшей купюру, несло смесью перегара с морепродуктами. Одет он был бедно, но со вкусом (светлый пиджак с заострёнными лацканами, вычищенные, пусть и поношенные, туфли), был слегка небрит, но солиден.

— Ты, пожалуйста, добейся, — проникновенно изрёк он, просто так отдавший сумму, на которую мне предстояло жить целых две недели. — Иначе я найду тебя, где бы ты ни оказался — и потребую деньги назад.

Здесь я вспомнил Воланда...

— Хо... Хорошо. Я очень постараюсь, эээ... Как могу к вам обратиться? — Я смутился до дна души.

— Во-первых, о стараниях речи не шло — добейся или сам знаешь. — Подмигнул так, что по шее прошёлся озноб. — А во-вторых, Казимир...

Пожали руки, я представился Моряком.

— Кантемир?

— Казимир. — Добродушно посмеялся. — Металлику знаешь?

К тому моменту я, не дождавшись карманных от родительской четы, уже месяц зарабатывал их в подземных переходах, на братовой гитаре. Брат, старший, однажды уехал в кругосветное путешествие и пропал, последняя весточка от него была выслана где-то в порте Манта, если судить по маркам. В семье о нём не вспоминают, как о неудавшемся проекте, а мне, напротив, кажется, что он обрёл счастье — где бы он в эту минуту ни был.

Я рассказывал о старшем брате Ей. Уже тогда Она встревожилась от примерно следующей пары реплик:

— Как бы я хотел быть, как он.

— Бросить семью, всё и жить, как какие-то битники или богема? Умереть, вероятно?

— Умирать я не планировал.

Но виду не подавала. Было трудно говорить о брате с кем-либо, кроме Неё, — это виделось моим личным, моей галактикой, которую иные, ушлые, непременно попытались бы разъять, объяснить, опорочить и монетизировать, стереть из космоса и предать забвению. Но с Ней я забывал о дистанции, о своих асимптотах, о красных линиях, проведённых между мной и остальными; с Ней мы стали почти цельным, почти единым существом — и Она так же, как и Казимир, любила Металлику.

— Знаю парочку песен.

— Ладно, это я так, праздные вопросы... — Похлопал меня по плечу. — Бывай, Моряк.

Он подмигнул мне, развернулся и оставил наедине с мыслями о том, было ли это на самом деле или я, как временами со мной случается, выдумал эту сцену от скуки и отсутствия «живых» людей в потоке торопящихся домой. Рыжая купюра, впрочем, была реальной и, кажется, не фальшивой — на ней, в переходном полумраке, словно светилась надпись «Две Недели», и остаток вечера, пока пальцы левой руки не устали зажимать баррэ, я считал

пришествие Казимира наваждением — уж слишком по-литературному, по-творчески сложилась — как карточная — обстановка.

Чтобы развеяться, я решил разыграть одну из двух известных мне на тот момент блюзовых гамм:

— Ту-таа, ту-ту! Ту-ту. Ту-ту. Та-та, та-та-та. Ту-ту. Ту-ту...

Акапелла вырвалась из меня сама по себе:

— Мне дали пять тысяч!

(ту-ту, ту-ту)

— Совсем ни за что.

(ту-ту, ту-ту)

— Я их не заслужил.

(ту-ту, ту-ту)

— Теперь в должниках...

(ту-таа, ту-ту)

— Мой первый кредит.

(ту-ту, ту-ту)

— И нужно добиться!

(ту-ту, ту-ту)

— Не знаю, чего.

(та-та, та-та-та)

— Я вечный моряк!

(ту-ту, ту-ту)

— Я вечный моряк.

(ту-ту, ту-ту)

— Я вечный моряк...

(ту-таа, ту-ту!)

Парочка девушек, хихикая и о чём-то болтая, прошла мимо и бросила в гитарный чехол мелкую купюру:

— Bravo! — сказала одна, другая захохотала. Далее они шли и оглядывались, пока не скрылись.

Чехол был слегка присыпан жёлтыми и синими купюрами и несколькими монетками. Её мать на даче — на всё оставшееся лето — и я смогу принести Ей, помимо своей уставшей тушки, еду из выпендрёжного магазина по пути и Её любимые пионы.

Рыжую купюру я, подумав, отправил в резонаторное отверстие гитары — на удачу.

И пусть через месяц начинается учёба, всё же жить — здорово.

Воспоминание 5

*«Что вы хотели бы знать о моём старшем брате?
То, что не было его, — да, это правда...
Скорее всего, я его придумал когда-то»*

Я и Друг Мой Грузовик

Мой брат был бабником с тех пор, как я его помню.

Ещё он был... талантливым или, чтобы не клеветать, способным. Именно он занимался моим просвещением, подкидывая книги, музыку, видеоигры мне не по годам, да и просто находясь рядом. Спустя годы в нём мерещится человек-пароход, человек-аэростат даже, которому облака милее, чем горы, долины и низменности.

Каждая очередная его девчонка пробовала побыть мне матерью.

— Ты поел? А что читаешь?.. Ого, Драйзер! Я вот не осилила в своё время, — бомбардировала вопросами Очередная, зашедшая к нам домой раньше брата.

— ...

— Ну, чего ты хмурый такой... Ты, кстати, так на него похож, так похож! Вы случайно не близнецы?

— Он на десять лет старше.

Каждая Очередная, как под копирку, замечала факт нашей схожести. Мы с братом и правда походили друг на дружку — шатенисто-рыжие волосы, большие зелёные глаза, сутулая высота на всех как одни выдавали наш род. Однако брата, помимо яркого

фенотипа, выделяли его харизма, фантастическое жизнелюбие, трикстерская хитрость и удача.

Люди к нему тянулись. Однажды (мне тогда ещё не стукнул второй юбилей) он позвал меня в город с собой, «аскать» в одном из парков. Аскасть — от ask — это бренчать песни за небольшие пожертвования; позже этим стану зарабатывать и я.

Своей фирменной, обклеенной стикерами Yamaha C-40 брат магнитил людей и даже бродячих животных. На сей раз было так же: происходил карнавал выходного релакса, дружелюбия, музыки и уличного искусства — люди делали фото, снимали видео, знакомились — иногда кто-нибудь просил поиграть, и брат послушно отдавал гитару новоиспечённой звезде сцены.

Всё шло мирно, пока...

— Эу, пацан. — По-видимому, ко мне обратился приземистый мужичок в сером остром козырьке и чёрной олимпийке. — Ты чей бушь?

— Ну, мой он. — Откликнулся брат со скамейки, пока кто-то из зрителей играл цоеву «Кукушку».

— С тобой мы ещё погутарим, — отозвался прищелец и снова обратился ко мне. — Ты слышал, что это место Пятого? А ты тут встал, мелочь.

— ..? — Я втянул голову в плечи и попробовал вообще перестать занимать пространство.

— Ну, чё притих, плати. Это платно, понимаешь? — И присвистнул.

— Жек, это мой брат. Младший. Отвянь. — Брат было поднялся со скамьи...

— Не заводи шарманку, братух. У тебя деньги хоть есть, мелкий?

Разумеется, денег у меня не было. С чего бы этот индивид проявлял ко мне такой интерес?..

— Понятно. — Протянул Жека. — Ну, придётся стрясти с твоего братишки...

— Погодь, погодь. — Брат живо одёрнул потянувшегося к чехлу бандита. — Есть другой варик.

— И какой же? — Жека хмыкнул.

— Жек, если у тебя выходной, и тебе нефиг делать, можешь взять моего брата в аренду.

— Чего?..

Чего?..

— Покатай его по городу на своей бэхе, расскажи про жизнь воровскую или что у тебя там. Разрешаю, только верни его целым. Проверю. — С хитрым смешком проговорил мой брат...

...и так я оказался на заднем, пахнущем старым коззамом и спиртом, тесном даже для девятилетнего сидении БМВ с Жекой за рулём. Мы ехали по главной улице города, и Жека рассказывал шокирующие подробности о почти каждом его здании:

— Видишь, вон там с серпом и молотом домик? Мы там кароч с парнями в девяностых казино организовали в подвале. Вход только своим. Сколько клея было вынюхано, ох...

— А на этой высотке мы как-то Настю Магеллан по кругу пустили, на крыше... Знаешь, почему такая кликуха? Она пересосала море членов, вот почему.

— Вон там сквер с одним фонарём. Мы кароч с парнями этот фонарь тырили на цветмет четыре раза, и все четыре раза он появлялся снова. Коммунальная магия, не иначе.

Из магнитолы играл какой-то зарубежный хип-хоп, выпущенный ещё до моего рождения. Похожий мне ставил брат — помимо драм-энд-бейса, танцевальной в стиле Depeche Mode, сиэттловского гранжа, дарк- и лайт-вейва, мат-рока, споукен ворда, тайных бардов, полевых записей — в общем, что он только

не ставил. Ещё дрожа от обстановки и её сюрреализма, я решил поддержать разговор:

— А это какой из Асапов сейчас играет, не знаете? — Шустро проговорил я и испугался.

— О, я вижу юного ценителя... — Протянул мой спонтанный сюзерен и рассмеялся. — Это Роки, можно сказать, классика. А ещё каких знаешь?

— Эээ... — В этот момент я, конечно, напрочь забыл про всех остальных. — Ну, Снэкс ещё...

— Снэкс — наркоман и предатель. — Вдруг холодно отрезал Жека. — Давай ещё.

Глаза забегали, но страх, который глодал меня до сих пор, отчего-то отступил. Кажется, несмотря на антураж, я был в полной безопасности.

— Нуу, эээ, он не Асап, конечно, но Плэйбой Карти ещё вроде у них был... — Я совсем замялся.

— Да лан тебе, я так, прикалываюсь. — Вновь рассмеялся Жека и повернулся ко мне. — Слышь, малой, а о чём ты мечтаешь?

Вопрос грянул грозой, но у меня давно был готов ответ, который я, не задумываясь, выпалил:

— Я бы хотел пойти на Эверест.

— Тю, малой! Это ли мечта? — Жека махнул рукой. — Там же вседохнут, как мухи.

— В смыследохнут? — Я об этом впервые слышал.

— А вот... — Призадумался. — Кент у меня был, пошёл в Альпы. Так его палатку молнией и пришибло...

— Светлая память.

— Молодой был, совсем как твой братан. Эх, да, светлая память.

Мы свернули с главной улицы в какой-то двор и остановились у входа в подвал. Горела, без буквы «ю», красная надпись «Рюмочная».

— Ща, погодь минутку, надо заправиться. — Бросил Жека и вышел из машины к подвалу, скрывшись на ступеньках.

Я прислонился к стеклу виском, под ритмы очередного Асапа, и размышлял о новом колоритном знакомстве, которое мне устроил брат. Как давно они знакомы? С какого такого чёрта мой родной брат доверил меня какому-то проходимцу? Ответов я не знал, но мне мерещился некий братов замысел, проба провести меня за грань привычного, в мир лёгкого безумства, непосредственной игривости, которыми мой брат всецело жил. Хоть я понятия не имел, чем продолжится день, я почему-то доверял моменту и ничуть не тревожился.

— Так, малой, ну, за тебя и твоего брателлу. — Вырос передо мной Жека, хлопнув дверцей.

— Вы уверены, что это безопасно... — начал я, но тут же был одёрнут.

— Ты мусор в штатском чтоль? Это, скажем так, фронтовые, для храбрости. — Жека оглянулся, затем поднёс рюмку с зелёной жидкостью к губам и разом осушил. — Ух, блин, хорошо! Кстати сказать, это моя рюмочная.

— Правда? — Я уже ничему не удивлялся.

— Ха, не верит! Смотри, — на этих словах Жека приоткрыл дверцу и с размаху бросил пустую рюмку об асфальт.

Подождали, но никто разгневанный порчей имущества к нам не вышел.

— М-да, из своего кармана забрал, но теперь-то ты уверовал? — Подмигнул мне Жека.

— Я агностик. — Выдал я и опять испугался.

— Тю! — Мой компаньон заливисто хехекнул. — Ты так не говори, малой. Я вот верующий.

Мы с братом нередко устраивали дискуссии на тему книг, которые он давал прочитать. Я вспомнил одну такую, по детской Библии, и мне хватило такта промолчать.

— Всё же, есть кто-то, кто запустил нашу кутерьму. — Жека немного понизил голос. — Мир это, как его, персефо... персофици...

— Персонифицирован? — Подсказал я.

— Да-да, вот эт самое слово. А ты смышлёныш не по годам! Сразу видно, чей браток. — Жека усмехнулся.

— С-спасибо... — Пробубнил смущённо.

— Хошь, чёт твоё поставим, а?

На этом моменте я позабыл о каждой песне, которую когда-либо слышал, кроме одной.

— «Медс» от Плацебо можно?..

Воспоминание 6

«Baby... Did you forget to take your meds?»

Placebo

Я помню обитель *странности*: вязь пролетающих птиц, бетонно-кафельные монолиты, канифольный скрипичный звук болезненно-жёлтых плит. Упущенные умы по углам косматых коридоров делают мнимых ангелочков в обломках своих судеб. Фигуры в избела-лазурных халатах шелестят мимо, источая неземную скорбь сквозь маски лиц.

Неуклонный, выцветший голос насаждает сквозь прикрытую дверь с золочёной табличкой «заведующий отделением»:

— В нём слишком много...

Личный круговорот боли матери замыкается стократ услонённой мухой вдоха.

Муха ловко залетает в приоткрытый от незнакомой тайны, таинственного незнания рот; гибкие мысли-отроки подступают к засыхающему краешку загадки, не осмеливаясь начать осаду... В ту же секунду в глубинах коридора, где-то в кластере палат, рождается треснувший, истерический смех.

Мир трескается, муха бьётся в истерии чьих-то голосовых связок (моих разве?); слишком много, слишком много, слишком много. Кажется, нужно ещё одно действие, лишь одно, единственное, чтобы завершить причинно-следственную триаду и выломать ящик Пандоры изнутри, — но кто подскажет, что следует совершить в этот момент (убить Кеннеди или шевельнуть пальцем ноги), обратим ли доминошный декаданс, станет ли мир

делать ангелочка в собственных осколках — а если не станет, то каков смысл его разрушать...

Выходит мама — внешне уверенно, внутри покачиваясь — не трещина, но явный надлом. Я вижу её изнанку — всегда видел изнанку вещей, мне казалось, — она растеряна, как сироты Борея, размыта, как пляска пальцев Пана по флейте и... подавлена? Брови в меру пощипаны, вид умеренно-несчастный — она так хотела растянуть себя на поколения вперёд... Она ни за что не сыграет в гляделки с бездной, при её ответном взгляде зажмурившись изо всех сил;

знает ли она, кого растит?

Она встаёт передо мной на колени, вежливо обнимает за плечи, скрывая улыбкой отречение (от речки, от меня, от себя ради меня?). Я гляжу в ответ её — тёплому, земному — взгляду — гляжу потусторонне — и не понимаю, кто из нас

по
ту
сторону
абсолютного нуля.

Её надлом достигает пика (его незримые мушки пролетают над нами вязью), она неслышно плачет на монолите моего плеча, косматым плачем щекоча болезненно-жёлтые щёки.

Я смущён и не смею рассказать, что сегодня меня усыновили музы.

Воспоминание 7

«Из этого видно, что я был ещё совсем мальчишка»

Фёдор Достоевский, «Записки из подполья»

«Если сюда ткнуть капу, а бас чуть подтянуть — не в тон — то кик придётся целиком переделывать. Так, подожди...»

Мне было семнадцать, когда брат насовсем пропал. Уехал он без денег, путешествовал автостопом, даже гитару свою оставил, чтобы его ничто не тяготило. Это было последнее путешествие лишнего человека, по иронии нужного, путешествие сродни паломничеству, искуплению неназванных грехов, опасное и неблагоразумное хождение по миру, которое он затеял ради того лишь, чтобы заявить свою волю. И вот, наконец, он перестал выходить на контакт.

В семье эту новость восприняли с... облегчением.

— Пельмени на тебя варить? — Высовывается голова отца из дверного проёма.

— Ой, а может пиццу закажем? — Вслед за ним вырастает мать.

И оба таращатся на меня, словно ждут чего-то. В тот момент я был основательно занят знакомством с Fruity Loops, пиратской расширенной версией, и этот мир — включая родителей, гитару, лицей, писательство, море и даже Её — мне этот мир был абсолютно понятен, и меня интересовало только одно: покой, умиротворение и слияние с бесконечно вечным понятием Музыки, к которой я, как неофит-дилетант, лишь подступал, трусливо подкрадывался, опасаясь облажаться и испортить её мистерию, её секрет. В свой последний выход на связь брат скинул

мне файлы в формате wav — две композиции в жанре пост-хаус, как я определил, и это рассудилось аналогом завещания, чем-то, что мне предстоит доработать — или, точнее, стать преемником. Родители продолжали пялиться, и мне как-то дико захотелось бросить им «идите, суётитесь» — но пришлось сдержаться.

— Как хотите. — Коротко бросил я, не поворачиваясь.

— Всё за игрушками сидишь!.. — Охает было мать, но её одёргивает отец.

«Не мешай» — слышу его быстрый шёпот.

За этим последовал осторожный хлопок двери.

После исчезновения брата моё родство с семьёй резко перетекло в отчуждение. Мать, экспрессивная натура, отец, кремень и громоотвод, — они стали казаться слишком... земными, и я невинно полагал, что нас с братом подменили, подкинули, несмотря на общую на всех зеленоглазо-сутуло-рыжую наружность, — полагал, пока не увлёкся генетикой, найдя в ней более рациональное, более горькое оправдание. Вероятно, рецессивные гены *странности*, дремлющие в наших с братом предках, подобно Давиду одолели доминантных Голиафов конформизма, в результате чего мы с ним получились отпрысками в самом скабрёзном смысле слова, аппендиксом нашего рода, ответвлением, никуда не ведущим. Мне отчаянно хотелось не верить в собственные выводы, но вера опутала меня, как чёрная вдова, и никакие доводы, призывы к чувствам, к кантовскому долгу перед семьёй, Ней и Человечеством, не могли вынудить меня веру сбросить, как одежду, обнажиться перед суровой истиной. Трудно менять богов... Я очутился в лимбе, как некрещёный младенец, и выход из него мне только предстояло найти.

Где-то на третий день после того, как отец сказал «он не вернётся», я заявил родительской чете о желании пойти в моряки. На девятый день я удосужился открыть братовы wav

файлы в каком-то агрегаторе. Ровно на сороковой день после отцовского высказывания — зачем-то вёл подсчёт — появилась Она, и я впервые с исчезновения брата притронулся к Yamaha C-40.

Но то хронология. На момент я был целиком в работе:

«Хэты не в тему»

«Бас поупруже надо сделать»

«Интересно, где он взял этот сэмпл...»

«А это какая тональность? На ре-минор не похоже»

«Как бы я хотел быть, как он»

На последней мысли я вздрогнул. Она привыкла к моим, так назовём, уходам в тень — сейчас я проживал именно такой уход, но выдержат ли наши отношения дальнейшее плавание? Я хотел пойти разнорабочим на какое-нибудь рыболовное судно — мать категорически отвергала затею, отец предлагал хотя бы получить высшее судоводителя; Она же, узнав о моей потере, мягко вздохнула и после долго меня обнимала:

— И что, ты планируешь всю жизнь плавать?

— Я не знаю... Зовёт меня что-то.

— Ты по нему скучаешь?

Это был последний раз, когда мы виделись, на днях. Лицей я забросил — отец заходил иногда в комнату, сообщить о каком-нибудь академически-гневном письме. Приличия ради, я просил отца повозиться с переводом на домашнее обучение, но мы оба знали, что им будет некому заниматься: я чересчур молод, чтобы определить себе верное направление развития, он — уже развит и давно устал для того, чтобы его определять. Мать — жовиальное, нервное создание — не пробовала вмешаться, словно опасалась сбить со взятого следа, творец и назначение которого и для меня были тайной. Её милая, стройная, светская картина мира заимела две вульгарные, широкие, глубокие царапины, одну из которой она была ещё в силах зашить — если бы мы оба знали, как, какого

цвета должны быть нити для операции, критична ли для них стерильность и не пора ли констатировать смерть...

— В тебе слишком много... — повторял отец, и я не знал, куда деть Кьеркегора и Стриндберга, Фукидида и Акутагаву, досократиков и схоластов, структуралистов и адептов абсурда, как обращаться с наследием брата так, чтобы не навредить ему, не навредить себе и родным, родителям и Ей, всем тем джентльменам и леди, подарившим мне сквозь дистанцию лет свои жемчужины, свои галактики. Я был чересчур несмел и наивен для своей последней жизни.

Мне оставались два действия, два акта: уйти в море и заняться музыкой.

Часть II: Вопросы

I

«Нужно обладать стойкостью и в пороках, и в добродетелях, чтобы удержаться на поверхности, чтобы сохранить взятую скорость, которая необходима нам, чтобы сопротивляться соблазну потерпеть крушение или разразиться рыданиями»

Эмиль Чоран, «Признания и проклятия»

На судоплавателя я всё же поступил. То была отдельная история, обошедшаяся не без драм но без скандалов, — отец проявил характер и поставил мне условие:

— Хм, сын. — Помню, как мы стояли с ним на кухне. — Ты всё-таки решил пойти в матросы, да?

— Да, решил. В моряки.

— Тогда — если ты не совсем дурак, конечно — ты должен понимать, что мы с мамой на тебя рассчитываем.

— В плане? Что буду вас обеспечивать потом?

— Нет... не в этом плане. — Он на мгновение смутился, но вернул себе представительный вид. — Я знаю, ты любишь шутить про «запасного ребёнка», но это твоя жизнь, и тебе её жить. Я хотел напомнить о твоей пассивности.

Здесь, помню, сердце — или показалось? — странно ёкнуло.

— У меня тоже есть пассивность — твоя мама. Не буду нагнетать и говорить, что она не выдержит, если и твоя жизнь куда-то покатится, но... подумай о Ней.

Он подчеркнул последнее слово, слегка понизив голос, — будто знал, как я к Ней отношусь, — и мне виделся трогательным тот ключ, который он подобрал к решению моего морского вопроса. Должно быть, он не имел в виду Её, имел в виду мою мать, и,

наверное, мне показалось, но этот разговор двух мужчин напомнил о уже моей молодой семье, и в тот момент я как-то оставил беспечные мысли об иллюзорной романтике мальчика-помогалы на борту корабля. На деле — и я это знал заранее — сей вариант поставил бы не оглушительное многоточие, а продолжительную точку на моей одичалой жизни.

— Эээ, хорошо. — Пробубнил я, смутившись.

— Нельзя быть мизантропом долго и безнаказанно одновременно, это как ехать по встречной. Скоро ты это поймёшь.

— ...

— Сделаем так, — подхватил отец, — я всё же переведу тебя на домашнее. Но подготовка к выпускным экзаменам полностью на тебе, ладно?

— Ладно. — Откликнулся.

— Если нужен совет какой — я всегда рядом. — Затеяливо подмигнул и покинул кухню.

Так я оказался на крючке, задержавшем моё свободное падение. Дело предстояло нехитрое — сдать экзамены, подобрать вуз, дожидаться поступления и далее по списку... Это «далее» повисло надо мной солнцем, воротами лимба, и выбираться из последнего следовало собственными усилиями, своим трудом.

С трудолюбием после исчезновения брата у меня образовались читаемые проблемы по типу «умный, но ленивый» — серой фразы, которой клеймят всех *странных* без разбору, фразы, которой достаточно для полной демотивации при обратной интенции, фразы, являющей собой пресловутое ведро с крабами. Мы тянемся к свету, к единению с Человечеством, к хорошему, милому и приглядному, к аристотелевскому идеалу человека, в общем, тянемся ввысь — и здесь нас накрывает чья-нибудь бескомпромиссная клешня, утрамбовывая обратно на дно, в лимб. Иные, непрочные душой, находят в нём последнее пристанище и принимают жалеть свой утраченный потенциал в заунывных декорациях до самого скончания (мысленный лес, терра

инкогнита) — так свирепая эволюция отсеивает неудачников, сбрасывает социальный балласт, самоочищается. Я постановил, что мой экзистенциальный кризис не должен касаться никого, включая меня, что встречу Её по ту сторону врат и что аскеза — благородное отречение, служение идее, самооскопление в некотором смысле — это либо гордыня, либо трусость, либо всё разом. Так, наркоманы, трудоголики, моряки и монахи — все, в общем-то, отрекаются, гордыня — непобедимый грех, трусость — инстинкт, и при подборе способа, как делить с ними быт, человеку социальному, *persona socialis*, остаются два ориентира, две оси: социальное одобрение и собственное самочувствие.

Мои проблемы с трудолюбием носили скорее характер гордыни, нежели трусости — меня ничуть не увлекали ни кукольная драма экзаменов, преподносимая как финальный выход из колыбели инфантилизма, ни пре-поступательный мандраж, ни мой статус как самостоятельной единицы общества. Дело было в... отрицании труда как явления, как неэффективного орудия, поминутно унижающего человеческое достоинство, тотально неуважительного и к хроносу, и к эону, божественному времени. Меня до колик раздражала непреложная необходимость дисциплины, её высшее общественное одобрение и кажущееся самочувствие её последователей — настолько живыми, неуязвимыми, бодрыми и принадлежащими обществу они воспринимались, что мне хотелось плюнуть на концепты старания и упорства, лишь бы не быть, как они, — очередным «доказательством» всеторжества труда в случае моего успеха либо, что вероятнее, очередной ступенькой на лестнице успеха чужого. Мне хотелось быть тем, кто парит над лестницами, а не шагает по ним или строит из собственного тела, тем, кто валит слона одним метким выстрелом, а не методично глодает его по крошечным кусочкам, — и этой чаянной чепухой я оправдывал свои безделье, лень и духовный упадок.

Но лимб стал тесен, и я решил его покинуть, чего бы мне это ни стоило. Первым шагом стала визуализация моей морской мечты —

я живо, целыми днями возводил её каркас — читал интервью с моряками от издательств вроде «Изнанки», слушал Петра Налича, смотрел экранизации «Мартина Идена», который казался трепетно-наивно-очаровательным, — другими словами, впитывал материалы, творил периферию и наполнение каркаса до тех пор, пока первым, о чём я стал думать по утрам, не сделались морской воздух, деревянная почва под ногами, неизбежные товарищи по кораблю и само судно как мобильная точка на исполинском плато океана.

Вторым стал самогипноз. Передо мной стояла предательская задача втиснуть себе веру, это пожизненное помутнение практического разума, вменить, как прохиндей-напёрсточник, убеждение, что моряком без высшего образования мне не бывать, — и мой рассудок сопротивлялся навязанному действию, как тело барона Мюнхгаузена сопротивлялось собственной руке, — законы физики, здравый смысл, сама гравитация встали преградой, и но, наконец, я поддался.

Третьим — наиболее продолжительным, каверзным — шагом стало тихоходное движение к близлежащим целям, кропотливое выполнение плана, освоение дисциплины — практика. Мне безбожно хотелось днями напролёт спать и брэнчать блюз, но обрётённая вера, как путеводная звезда, стала моей спутницей в немоющем лимбе, крючок проткнул меня, не позволяя сорваться, и — делать нечего — я принялся за скучнейшую механику повторения. Ощущал я себя как галерный раб или, точнее, как предгалерный: пропуская через себя авгиевы объёмы информации, невольно осмысляя их и чувствуя над собой клешню социума, нависшую, как дамоклов меч. И но, однажды, в одном из портовых городков, я проходил мимо местного бара с репутацией рыгаловки и заметил у входа двухметрового парня в чёрной бейсболке, футболке, шортах — словом, целиком чёрного — и в белом гипсе от стопы до колена, на двух костылях, и я, будучи падким на переработку нормальной, живой действительности в поэтические образы, цепко ухватился за него, утащил

в мысленные недра его копию, чтобы позже, в моменты бессильных сомнений, вспоминать о нём. Я никогда не узнаю имени этого друга, но отныне со мной навсегда его поразительные воля, кураж и жизнелюбие; тогда, в предвыпускной год, я, конечно, ещё не мог его видеть, но странное чутьё подсказывало о его существовании, словно мы были знакомы в одной из прошлых жизней — и обязаны были когда-то встретиться в текущей. Я держался поставленного перед собой истязания одним этим заочным знакомством, этим предзнанием, этой силой духа, задремавшей было во мне, пробуя перенести работу сознания из туманного потенциала в реальную кинетику.

Чем больше я изучал, посвящался в предлагаемый лицеем минимум теоретических знаний, тем больше меня раздражали так называемые «признанные мастера» — своей непогрешимой, вымученной святостью, своим добытым кровью и слезами благодушным авторитетом, своей претензией на вечность и незабвение — в их почитании мне виделась хрестоматийная ошибка выжившего, коллективный, слишком человеческий страх перед смертью или лимбом, мягким её аналогом, прозопопейное, эгрегорическое помешательство — с тем мрачноватым дополнением, что мастер, приходит час, покидает нас, а созданное им непременно извращается, вырывается с суставом из контекста, пользуется в самых низких, скупердядйских, практических целях. *Кто-то* заявил, что автор умер, мы, как недееспособные опарыши, облобызали его гроб — с этой непреходящей тенденцией к лобызанию я никак не мог примириться, мне это казалось вальсом на костях, непрерывной профанацией и кошунством. Меня тошнило от экзистенциалистов, которых растащили либо растащат на цитаты домохозяйки и мои ровесники, — казалось, всем и каждому в этом мире находилось применение, прямое или назидательное, мало кому удавалось избежать этой участи, и, чтобы ко мне на трапезу не слетались мотыльки, я был готов светить чернотой, анти-светом — но тогда я рисковал привлечь и анти-мотыльков, и этот малость нелепый цугцванг, в который я загнался, — как и многие подобные ему мысленные

конструкции — всё это выступало лимбовыми терниями на моём пути к морским звёздам. Мне предстояло обрубать эти мысленные лианы одну за другой, не теряя хватки, методично обрезать, по зародышам листочков, ростки своей гордыни, если я хотел — а я хотел — снова увидеться с Ней.

Мы почти не виделись с Ней, вплоть до последнего сданного экзамена. Беседовали по телефону, смотрели вместе дистанционно мои фильмы о море, проникновенно молчали. Она не выдавала тревоги, пока в один вечер накопленное не пролилось само:

— Как ты себя чувствуешь? — Кротко начала она.

(Как шут в железной деде)

— Как раньше.

— Почему ты не хочешь меня видеть?

Сразу перешла в наступление...

— Дело не в тебе, ты же знаешь. Мне нужно работать.

— И над чем ты там работаешь, долго ещё?

(Над собой, всю жизнь)

— ...

— Нельзя так со мной. Я скучаю...

— Тоже. Но представь, что я уже отучился и уехал в рейс, например.

Она тяжело вздохнула, и по динамикам хлестнула звуковая мишура вдоха-выдоха.

— Я не уверена, что мы справимся.

— Я уверен.

— Я знаю, что тебе нужны «времена для себя», как ты это называешь, но как же времена для нас? Для меня?..

...в общем, лимб не изолировал меня от внешней действительности подобно вакуумной барокамере или подземной парковке в Need For Speed при уходе от погони, напротив — пока я простаивал и был занят греко-римской борьбой с самим собой, со своей Тенью, мой наиболее ценный, приятный, знаковый, необходимый человек — Она — была окутана тоской отсутствия, подавленным ожиданием, меланхолией и сплином. Тем остервенелее я лежал, когда Тень проводила удушающий захват, тем тягостнее был мой блюз, который никогда не будет записан или сыгран на сцене, ибо трель его, блажь его, суть его: провожать время в добрый путь, брать его взаймы на ничто, на горевание о всех иных способах его провести, навсегда вырубаемых гильотиной каждого наступающего момента; тем свирепее, неукротимее, фуриознее был каждый мой микро-триумф, когда удавалось подняться с кровати и сотворить что-нибудь объективно полезное.

Когда стало очевидно, что брат исчез, к нам, одна за другой, словно по намеченному коллективным разумом расписанию, стали захаживать его Очередные, чтобы забрать какую-нибудь забытую у него вещь. Мы делили с ним комнату раньше, и в марафоне дней я безразлично наблюдал за вереницей Очередных, вершивших неспешный демонтаж декораций моего лимба, сыплющих сухие соболезные слова, как соль, и эта процессия, в конце концов, оставила комнату — не считая мебели, ноутбука и гитары — совершенно пустой. Так я остался наедине со своей интерьерной проекцией.

(Мой дом — моё отражение)

Иногда, когда переставал радовать даже блюз, когда время, которое я проводил во сне или полудрёме, устремлялось к двадцати четырёх часам в день, когда барный парень на костылях

считался обыкновенным алкоголиком, когда лимб казался единственной и вечной реальностью, я хотел просто перестать существовать, рассыпаться в атомарную пыль, нет, даже обернуться энергией, из которой состояли элементарные частицы моего тела, чтобы развеяться в пространстве ветром и больше никогда не думать и не чувствовать. Но — в эти моменты надира, предельного уныния, когда меркла последняя мысленная звезда, когда вера становилась невесомой и лишалась меня, когда я Чувствовал Ничто, — возникал образ брата, который говорил что-нибудь вроде:

— Кто грустит — тот не забыт.

И Тень отступала. Вспоминались, как при платоновском узнавании, и Чоран, и Сенека, и Вейнингер, важность рутинных ритуалов вроде водных процедур, чувства и мысли, цели и навыки, родители и Она, музыка и море — механизмы организма стряхивали ржавчину и оцепенение и принимались за свою неведомую, параллельную моей, извечную работу, собственную борьбу.

Однако с приближением Рубикона экзаменов описанные внутренние баталии наращивали масштабы, как функция экспоненты, приобретая почти синусоидальный размах американских горок для эвтаназии, и лимб стал адом, и я стал совсем невыносим — настолько, что одним в особенности макабрическим вечером, впервые позволив себе как-то буквально огрызнуться на Неё, прервав видеосвязь, я пришёл к родителям с повинной и попросил записать меня к психотерапевту.

II

«I spit my poison to the priest who thinks his words can calm my soul»

Hydra Mane

— Знаете, доктор, две недели назад у меня умер хомяк, и всё это время я думаю о том, чтобы наложить на себя руки... Нет-нет, погодите, не в этом дело. На самом деле, после того, как я расстался с девушкой, мою жизнь покинули все краски, и я не могу ничем заниматься — даже есть. Вот, похудел на шесть килограмм... Тоже нет. Настоящая причина моего визита в том, что, хоть с гибели всей семьи в авиакатастрофе прошло уже пять лет, я так и не нашёл своего места в жизни, моя личность до сих пор расколота на части — а также я постоянно борюсь с порочным желанием убивать... Ладно. Это тоже неправда.

— Тебе нравится лгать другим людям?

В этом кабинете, полном разнообразных вещей — стеллажи с книжками и брошюрками, антистресс-игрушки, просто игрушки — машинки и куколки — которые должны были напоминать клиенту о детстве, отдалённом и забытом, размягчая и делая податливым для анализа, — в этом, в общем, кабинете я чувствовал себя почти как на литературных собраниях. Мой первый психотерапевт — худой мужчина в лососевой рубашке и классических штанах в клеточку, очках тонкими прямоугольниками — испытующе, но так, чтобы это было малозаметно, рассматривал меня, как новый экспонат, — наверное, затем, чтобы позже спрессовать мой образ в новый предмет интерьера. Я сидел в широком и удобном кресле напротив него, на простом стуле.

— Мне в целом не нравится что-либо говорить людям.

— Почему?

(Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас)

— Потому что любые высказывания равнозначны симптомам.

Он чуть вскинул бровь и достал из кармана рубашки маленький блокнотик.

— Звучит... Внушительно.

— Это Чоран.

Из второго нагрудного кармана вытянул жёлтого цвета ручку.

— Давай поговорим о настоящих причинах твоего прихода.
Твой отец говорил по телефону о смерти...

— Потере.

— Потере родственника, спасибо. Кем он был?

(Лучшим человеком из существующих и существовавших)

— Моим старшим братом.

— Расскажи о нём, пожалуйста. Вы с ним ладили?

— Что бы вы хотели услышать?

— Только то, чем ты сам готов поделиться.

(Как брат с отцом на пару летали на дельтапланах, а мы с матерью стояли за ручку на земле и боялись; как брат переоделся в священника, нацепил накладную бороду, пришёл в начальную школу посреди уроков и стукнул кадилом по макушке моего обидчика)

— Он был... мне дорог.

— Можешь продолжить?

— Могу.

Терапевт что-то черкнул в блокнотик. Помолчали, и здесь наполнение комнаты, наконец, растворило меня, и откровение проявилось само, как дагерротипный снимок:

— Брат ни разу мне не врал, не унижал меня, не поколачивал, как это бывает с сиблингами — он относился ко мне как ко второму вместилищу собственной души. Он показал мне мир таким, каким он должен являться, был... живым примером сверхчеловека, моим другом. Я чувствую себя сейчас, как сообщающийся сосуд без второго колена, как христианин на Марсе, оставленным — да как только я себя не чувствую. Вероятно, теперь я в депрессии, но вот так штука — смерть, с его уходом, просто не имеет больше смысла.

— Ого. — Терапевт едва поднял бровь. — Ты действительно им дорожил. Вижу по твоей речи, что ты эрудированный молодой человек...

Здесь я пожалел о своей болтливости.

— ...однако не мог бы ты описать то же самое, но без метафор и терминов? Кажется, что они, как туман, скрывают что-то важное — например, ты не сказал, как к твоей потере отнеслась семья.

Ясно: он пробует разложить меня на типичные представления и травмы — мою боль, моё горе — по классической фрейдовской методичке. Это было столь же бестактно, сколь и противно, и, в целях психической самообороны, я вспомнил Выготского и Личко и попытался его протипировать:

— А вы верите в гороскопы?

— Я?

Впервые употребил личное местоимение по отношению к себе. Первое предположение: вероятный циклоид либо параноид, с лососевыми нотками истероидности.

— Да, вы.

— Кажется, это не похоже на ответ на вопрос о твоей семье.

— Что вы, доктор. — Я позволил себе наконец развалиться в кресле. — Это имеет прямое отношение к вопросу о моей семье — многострадальной, любимой семье.

Он, не подав виду, приготовился записывать в блокнотик.

— Начну с небольшой предыстории. Мы с братом оба — сентябрьские девы, видимо, родители хорошо Новый Год встречают, и, значит...

Я лил чепуху, внимательно наблюдая за реакцией терапевта на каждое слово. Когда я говорил о футболе и алкоголе, его лицо приобретало еле заметный зелёный оттенок (бывший либо действующий алкоголик или лудоман, вероятно аддиктоидная акцентуация); когда я как бы случайно переводил тему с настоящего времени на братовы роды или мою среднюю школу или семейные традиции, он едва заметно морщился (неприязнь к гипертимам, ещё один аргумент в пользу аддиктоидности); когда я упоминал Диогена Синопского и хохмы про него, он что-то записывал в блокнотик (рефлексоидная либо параноидная черта); когда я рассказывал о своей первой школьной симпатии, которая уехала в другую страну, он ювенально, как сенситив, поджимал губы; когда я устно заламывал руки и винил во всех своих бедах окружающих, он по-виктимоидному сочувственно кивал — и так далее, и тому подобное. К концу моей показной самоэкзекуции был готов его первичный портрет, возможные чувствительные точки, даже предположение о биографии и о том, почему этот шарлатан выбрал путь помощи людям...

— Так. — Прервал он меня на моменте, когда я рассказывал байки из жизни аскера. — К чему всё это?

— Я тоже немного подкован в психологии, доктор. — Признался я. — И, чтобы не издеваться, скажу, что отсканировал вас сейчас более, чем вы меня.

— Что вынудило тебя на этот шаг? — Терапевт сложил блокнот на коленях и поправил очки. — Ты не доверял мне? Почему?

А сам — достаточно профессионально, впрочем — скрывал смущение, гнев и какое-то неясное удивление.

— Я же говорил, любые высказывания равнозначны симптомам. Поступки тоже.

Он попал в мою ловушку: теперь он не мог делать или изображать что-либо, как и просто сидеть с отсутствующим видом.

— Чего притихли, доктор? — Я совсем обнаглел.

— Кажется, наш сеанс подходит к концу... — Бросил взгляд на настенные часы.

— Что вы, доктор, ещё целых семь минут! — Рассмеялся я. — Сегодня пятница, торопитесь куда-то?

— Мой досуг мало относится к нашей встрече.

— Нет-нет, вы неправильно меня поняли... — Я смутился, ведь он почти огрызнулся.

— Ладно, я скажу это честно. Ты — умный, начитанный и осознанный молодой человек, и ты прав — вряд ли обычный гештальт-подход, который я практикую, может помочь тебе смириться с потерей брата. Однако, чтобы не губить твой вполне ясный ум препаратами, я могу предложить тебе контакты коллег, вдруг вы друг другу подойдёте.

Здесь меня легонько кольнул стыд за этот психоаналитический перформанс и, представив комиссию из психоаналитиков, качающих головами на конференции, где изучают мой вскрытый мозг, я отбросил эгоцентричные, гомерически-хохочущие над моей дальнейшей судьбой мысли и согласился:

— Давайте попробуем...

Так началось моё великое хождение по психотерапевтам. Одной полной блондинистой дамочке, едва закончившей институт психоанализа, я, закатив торжественно глаза, жаловался, что моё Я — лишь сумма прочитанных книг. С другим — лысым, похожим на строителя мужичком — мы на пару травили анекдоты, от души матерились и ни капли не приближались к разрешению моих душевных метаний. С третьей, коротко стриженной, чуть пожилой брюнеткой я пафосно, не стесняясь терминов и метафор, разглагольствовал — говорил что-нибудь вроде «процесс экзистенции снимает тождество между полагающим и полагаемым» или «нож утра отделяет плоть меня от кости кровати», получая в ответ ещё более пафосное изречение, и спираль могла так закручиваться бесконечно. Ещё одна лысая татуированная мадам — со стильным трайболом на всю лысину — вначале была мягкой и терпкой, как мята, но под конец сеанса не вытерпела моих буффонадных мини-перформансов, обернулась крапивой и выдала пассаж о проблемах белых людей, мужской гендерной социализации, токсичной моногамии и селфцесте — эта встреча показалась особенно потешной. Как-то попалась и Василина-2, удивительно похожая на оригинал внешне, которая принудила меня вести дневничок тревог, смутных мыслей и прочих *cognitive distortions* — я написал в него одноединственное слово, «Бобок», и посчитал работу исчерпанной. Был ещё мужик буквально со шрамом на лице, как у Ведьмака, с ним мы ни словом не обменялись за оплаченный сеанс — и т. д. и т. п. и пр... Всё это, конечно, было весело и интересно, но я постепенно успел окончательно отчаяться и постановить, что лет через двадцать, в тридцать семь лет, непременно сожгу себя где-нибудь в глухой деревеньке, и пепел мой, удоблив почву, станет дубом и незабудками. Умирать своей смертью, казалось, уже не имело смысла, никто меня не понимал из живущих, даже те, чья работа — понимать, и оставалось только одно — подобрать песню, под которую было бы не стыдно свести с жизнью справедливые счёты (пусть этот процесс и занял бы не меньше века).

Наконец, на своём последнем Очередном — молодом парне с ярко-синими волосами — я бросил Уловку-37, чтобы поглядеть на реакцию, и услышал:

— Вижу, что несмотря на полную семью и наличие девушки, ты довольно одинок, ведь так?

— Полную семью? — Связвил я, но задумался.

Говорили мы по видеосвязи.

— Я могу предложить тебе групповой сеанс, пока ты не решил не дожидаться зрелых лет.

— Групповой сеанс?..

— Да, завтра как раз. Без проповедей и навязываний, я буду только курировать. Приходи, послушаешь истории других людей — может, тебе это поможет.

Я снова был на крючке.

III

«Выходишь из зоны комфорта походкой лунной»

Данил Гордеев

Ярко-синеволоосый паренёк, чуть ссутулившись, сидел в центре круга из двенадцати стульев и что-то печатал в телефоне. Стулья были почти пусты, и мы с Ней плюхнулись на случайно выбранную двойцу свободных.

В то воскресенье я едва не проспал, если бы Она, спустя пять непринятых звонков, не догадалась за мной зайти — мы условились пойти вместе, и пришлось соврать о Её проходящей маниакальной фазе, чтобы Ей выделили местечко. Обстановка напоминала приход католической церкви — с той разницей, что здесь было теснее, не было росписей и мозаик, однако витал некий Дух, общий для всех ментальных богаделен.

На расстоянии трёх стульев по часовой стрелке от меня сидела стройная женщина среднего возраста, её глаза были невообразимо печальными, не космо-стоически печальными, как у Сократа на казни, нет — в её тоске, которая, казалось, заняла и два места по краям — настолько это чувство было через край телесным и осязаемым — в её, в общем, тоске мне, как наяву, привиделись мои личные пепел, дуб и незабудки, моя собственная тоска. По правую руку от Неё — по какой-то неведомой броуновской причине мы сели к нему вплотную — скучал, нервно шевеля пальцами, парень, которого я бы описал как wannabe rockstar — растрёпанный отросший белобрысый ёжик волос, тёмные очки с круглыми линзами, повисшие на рубашке, расстёгнутой на пуговицу, тату равносостороннего треугольника на левом предплечье. Понемногу стулья заполнялись прибывающими — я

не рассматривал их, воркуя с Ней о чём-то; кажется, мы придумывали вместе Её речь, чтобы звучало органично, натурально и идентично реальному — пока, наконец, круг стульев не оказался заполнен на 10/12, и ярко-синеволосый не провёл краткое открытие собрания, которое вынудило меня чуть съёжиться. Я и так пришёл сюда просто для развлечения, от некуда деваться, от дыры в груди в форме Бога, прости Господи, от желания как-то провести с Ней редкое совместное время, а он сказал:

— Повторите за мной. Торжественно клянусь, что таю в сердце правду и только правду.

— Торжественно клянусь, что таю в сердце правду и только правду. — Прошелестела кавалькада голосов.

Впрочем, эта отсылка на *известно что* показалась мне настолько по-метамодернистски наивной, сколь и милой, что, преодолев лимонную сморщенность лица, я чуть запоздало добавил свой голос к общей полиреплике:

— Торжественно клянусь, что... буду говорить правду.

Моему голосу вторил Её, и, найдя в этом маленьком ритуале секундное единение, собрание официально началось:

— Значит, я на неё ору на кухне «Какого чёрта! У тебя герпес?!», а сын в это время с садика вернулся — самостоятельный он у нас — и смотрит, но при этом не плачет. Вот это было самым жутким — что он не плакал...

— Первые несколько «сто дней чистоты» я отмечала тем, что вмазывалась...

— Я семью хотел, моральный человек был! А жизнь меня опрокинула...

— У меня бабка спилась, всегда навеселе была, а потом раз — и цирроз. Как-то приходил участковый с проверкой, и, как раз в этот момент, в сарае взорвался самогонный аппарат. Во смеху-то было!..

— Мой духовный отец покончил с собой, мой крёстный — ушёл из семьи. Обычного отца я не знала...

Бесцветные, бестелесные голоса — как голос сознания за вычетом разделения тембра на женский и мужской — сменяли друг друга, как поезда на станции метро, а я стоял на этой метафорической станции, не ощущал Её руки в своей, как призрачной, и испытывал Столкновение с Реальностью — именно с двух больших букв — Столкновение неиллюзорное и небывалое, нежное и небесное. Последний раз я попал в это экзистенциальное ДТП тогда, когда отец произнёс те зловещие три слова о брате — «он не вернётся». Нетрудно представить, под насколько высоким давлением оказались мой картонно-бездонный лимб, мой никудышный блюз, моя эскапистская идея-фикс о море. В сердце коллективного паллиатива я мог похвастаться исключительно потерей брата.

— Ну что ж, кажется, твоя очередь. — Вдруг обратился ко мне этот синеволосый палач, этот серый кардинал, этот худший либо лучший после брата — пока не определил полюс — человек на земле.

— Кхм, да. — Попытался начать я. — Ну. У меня был старший брат...

Все потерянные и заново найденные души сосредоточились на мне, все одиннадцать пар глаз, включая Её. Я было замаялся от прикованных взглядов, от вероятных ожиданий, повисших цепями, но, вспомнив свой наивно-искренний, данный в начале сеанса обет, я прокашлялся и выдал:

— Он не издевался надо мной и, наверное, не умер, не подумайте. Просто он... был, и я не могу с этим смириться. Его нет сейчас, и я совершенно потерян, он будто меня испытывает, а я очевидно не справляюсь, раз даже здесь оказался. Я... Не знаю, — обратился я к собранию, — вы все прожили такие жестокие, такие травмирующие, такие полные жизни события, вас словно на подбор, как актёров, собрали, чтобы убедить меня в том, что я зажрался и раздул драму из снежинки в цунами, чтобы намекнуть на то, что я слишком молод, чтобы быть в настоящей депрессии.

Но вам хочется верить, брат бы так и сказал — «слушай их» — и одно это держит меня от того, чтобы разрыдаться, а я не плакал ни когда он пропал, ни после. Его нет и, эээ, не будет больше. А я остался телом, из которого вынули органы. Вот, пожалуй, всё, что я хотел сказать.

Установилось давящее молчание, которое чуть погода ярко-синеволосый нарушил:

— Спасибо, что поделился. Теперь слово твоей спутнице.

— Я не знаю, как с ним обращаться. — Начала она, кольнув, и я весь превратился в слух; это не было похоже на заготовленную исповедь бывшей ночной бабочки в маниакальности. — Мы пока слишком юны, чтобы загадывать далеко, но мы выбрали, выбираем друг друга каждый день, и при том его личность, знаете... она как будто вытесняет меня, выталкивает куда-то за пределы доски. Я не хочу быть приложением для гения, знаете ли, я тоже личность, и пока он там решает, что делать со своей жизнью, пока тоскует из-за брата, я тоже страдаю в квартире наедине с матерью — от своих осязаемых, реальных проблем. Я совсем запуталась в том, кого из нас считать наибольшим страдальцем, поэтому страдаю в основном молча. Это то, что я хотела сказать.

— Что ж... — Кардинал скользнул по мне и Ней понимающим взглядом. — Я надеюсь, что теперь вы друг друга услышали. А у нас на сегодня всё...

— Я не смогу тебя всю жизнь дожидаться, понимаешь? — Она, казалось, едва сдерживала слёзы. Мы стояли на крылечке, мимо проходил сеансовый народец.

— Я... знаю. — Я вздохнул.

— И что будем делать?

— Я... не знаю.

Мы разминулись — Она отправилась страдать к себе молча, я — к себе, готовиться к выпускным экзаменам, играть блюз и спать. На большее я не был способен — сегодня Реальность обнажила

клыки, впились в моё слабосильное тельце и созрели, наконец, ягодки после цветочков.

IV

*«И вам не сорок, но вы в кителе
И вам не полтинник, но вы в петле»*

Мутант Бхвлам

«Может ли человек быть в обиде на мир, не лукавя при том? Что таится за этим чувством — нет, не обычной обиды на другого или Другого — на пространство? Я полагаю, что вечность проиграла в борьбе жизни, но они отыскиали компромисс, который никого не устроил, — не всякий — а на поверку далеко не всякий — рождённый желал бы быть таковым. На этом чувстве выброшенности в пространство и зиждется фундаментальная, сакральная обида, о которой речь»

«Чувство чести, как рудимент, — оно было тем славным пережитком, оглядываясь на которые в антропологическом порыве, понимаешь, что далее будет утеряно, утрачено всё — и любовь, и дружба, и вера, и сама жизнь»

«Когда все станут такими, как я, когда не станет Другого, и будет только одно Мы — тогда наступит либо новая, невиданная ранее заря человечества, либо, что вероятнее, его последний конец»

...и многие другие бесплодные, упаднические философствования, в которых я погряз после группового сеанса психо-исповедания. Я завёл новую тетрадь — ту, с единственным словом «Бобок» решил оставить, как есть, — и записывал каждый хотя бы минимально похожий на работу мозга мысленный пшик. Блюз и подготовку я совсем забросил, не отвечал Ей уже несколько дней. Мне снова хотелось перестать существовать, рассыпаться

в атомарную пыль и далее по списку — брат стал достоянием общественности, пусть немногочисленной и закрытой, и теперь считалось оскорбительным, святотатственным для памяти о нём взывать к нему; что уж говорить о любых других духовных костылях, воспоминаниях и поэтических образах. Я был совершенно покинут в довольно бедственном положении ненамеренной самоизоляции, бездна по ту сторону существования неотрывно вглядывалась в меня, как в свой новый романтический интерес, и с той стороны дна стучались веды, псалмы, Харе Кришна, Да Святится Имя Твое и прочие эсхатологические напевы. Прижизненная смерть, последствия Столкновения с Реальностью — описания красноречивее слова в моей первой терапевтической тетрадке не выдумать, хоть я, по-видимому, и пытался. Бесконечногранное великолепие жизни померкло, как досрочно сгоревшая лампа, и не было никого, кто бы его заново зажёл.

Иногда, из соображений проветривания, я выходил во двор сидеть на лавочке, глядел на торопящихся куда-то, неспешно прогуливающих людей и ощущал неодолимый незримый купол радиусом в свой рост, разделяющий их и меня; бесцельно шастать часик-другой под ослепительной сенью солнца или одеялом облаков или моросью слёз последних. Временами накатывала несвойственная мне ненависть за нахождение в таком положении, ненависть характера аутоагрессии, направленная исключительно вовнутрь, — тогда я брал ножницы, вынужденно посещая кухню, и резал — разумеется, не себя — случайные философствования на лоскуты, прочь из тетради. Ещё я пробовал копаться в музыкальных плагинах, но их давящее многообразие, их пространство было настолько жизнеутверждающим, настолько напоминало о брате, что вскоре я и их оставил. В общем, наступила долгая полярная ночь...

Одной проформы ради, я, проснувшись затемно, уже вечером, решил обратиться к отцу за советом.

— Мне... не очень хорошо. — Начал я так, потупив взгляд.
— Мы заметили с мамой. — Откликнулся отец. — Ты три дня не ел.

Мы вновь были на кухне одни — словно в других локациях мы не могли поговорить начистоту — и даже повторяющаяся киношность этой сцены не радовала.

— Терапия, вижу, тебе тоже не помогла. — Чуть помолчав, продолжил.

— Да, как видишь.

— Раз уж ты сам пришёл, то скажу как есть — мама хотела, чтобы ты полежал немного, где следует. — Он немного смутился. — Но мы решили, что там тебе станет ещё... грустнее. Короче говоря, если хочешь знать, мы не понимаем, что с тобой делать.

Помолчали.

— Ещё мне на днях звонила твоя пассия...

Здесь я поднял взгляд с пола.

— ...спрашивала, как ты. Думаю, не лишним будет сказать, что и мы волнуемся... Есть какие-то идеи?

Нежданно, на кухне родного дома жизнь поставила передо мной задачу, от решения которой зависело, останусь ли я при ней, при жизни. Решение пришло почти сразу:

— Можешь поискать психиатра?

...

— В постель писаешься? — Начал он — походивший по типу на отца, тоже шатенисто-рыжий и худощавый, почему-то без очков (деталь прекрасно бы подошла образу) — избегая церемоний.

— Естественно, док.

— Голоса есть?

— Нет, я бедный. Подарок вам не куплю. — Попытался я пошутить, но он как-то разочарованно покачал головой.

В кабинете, помимо нас с ним, была ещё в наличии молоденькая медсестра, похожая на Уэнсдэй Аддамс из нового сериала, и растрёпанного вида паренёк с неопределяемыми чертами лица. Отшучиваясь на стандартные вопросы своего первого психиатра, я подслушивал разговор медсестры и паренька, примерно следующего содержания:

— Как тебя зовут?

— Мх-х, Марк.

— Как ты считаешь, что с тобой происходит?

— Я полностью здоров.

— Почему тогда ты здесь?

— Я не имею понятия. Мать, сука такая, не даёт мне читать Набокова — вы знаете, мой любимый пассаж у него про этюды Моцарта, из «Отчаяния». Я и сам своего рода его, Моцарта, потомок, я уверен — иначе откуда у меня такие длинные пальцы, такая страсть к классической музыке?..

Я не знал, что будет теперь со мной и моими звёздами, попавшими в лапы к санитарам ноосферного леса. Насколько я помнил, Набоков не упоминал Моцарта ни в «Отчаянии», ни где-либо ещё... Психиатр продолжал сыпать базовыми вопросами:

— Сколько спишь?

— Часов двадцать пять в сутки.

— Высыпaeшьcя?

— Разве что выливаюсь.

— Понятненько...

Клянусь, он так и сказал — «понятненько» — из его тяжеловесных, бюрократических уст это прозвучало первым шёпотом тысячеголосого безумия. Здесь — в частной больнице за городом — всюду горел газовый свет, и я, осенённый им, уже

был готов, как Мерсо в тюремной камере, к тому, что последовало бы дальше: связывание, галоперидол и стремительное старательное стирание меня с карты общества. Возможны шоковая терапия и лоботомия.

— А жалуешься на что? — Вопрос слегка выбил меня из заведённой было колеи.

— Да знаете, док, грустно после... смерти брата. Мы были довольно дружны.

— Ага.

— Психотерапию я пробовал, если что. Не помогло.

— Да, твой отец посвятил меня в анамнез. — Он чуть откашлялся, будто подавился слюной, и, наконец, вынес приговор. — Давай так: я пропишу тебе наиболее мягкие антидепрессанты — если понадобится, увеличим дозировку или сменим на что-нибудь... эффективнее. Класть тебя я не вижу смысла — ты не представляешь опасности ни для окружающих, ни для себя.

— Вы уверены?

— Можешь меня разубедить. — Усмехнулся. — Но, думаю, ты достаточно для этого разумен. Я предлагаю тебе следующее...

Я внимательно прислушался.

— ...попробуй наладить дисциплину и заполнить дни рутинными действиями. Это к чему — сейчас их нет под рукой, но я читал на днях материалы о концлагере и вышедших оттуда людях. Они просто отстраивали дома, чистили зубы, заботились о любимых, растили цветы — и смогли перевернуть страницу, жить дальше вполне счастливо. Тысячи людей, многим понадобилась на это пара десятков лет. Ты не жертва концлагеря, конечно, но и твоё горе мне ясно. Мой тебе совет — позаботься о рутине.

— Хо... Хорошо. Я попробую.

— В конце концов, это твоя жизнь, и тебе её жить. — Он хитро подмигнул мне, и здесь тысяча голосов сумасшествия беззвучно заурчала во мне...

Отец дожидался меня за дверью, чтобы после отвезти домой.

— Если тебе будет спокойнее, то диагноз я не ставлю — считай, здоров, просто приуныл. — Врач попытался меня подбодрить. — А то вдруг потом права захочешь получить или на работу устроиться.

— Спасибо. — Ответил я отсутствующе, смакуя про себя это «здоров, просто приуныл». Я был рад, что биофизика моего мозга не испытывала фатальную внутреннюю ошибку, и вместе с тем расстроен фактом своего здоровья. Это значило, что труда мне не избежать — а с трудом, целеполаганием, расставлением приоритетов и подобной чушью для успешных людей у меня по-прежнему были натянутые отношения. Стоило, впрочем, последовать совету о рутине, сходить в аптеку за своим первым в жизни АДом, перестать позволять Пустоте побеждать.

Того хотел бы брат.

V

«Это точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Согласитесь сами, что если б он не утонул, то он не считал бы соломинку за древесный сук»

Фёдор Достоевский, «Игрок»

Первое, что я сделал, выкупив АД, — неловкая, почти как при покупке презервативов сцена вышла — полез в интернет искать статьи о концлагерных мучениках. Я шерстил публицистические и социологические, медицинские сайты, форумы и порталы, социальные сети и мессенджеры, однако нашёл — и даже с горкой — массу других поражающих и жутких фактов за вычетом одного лишь искомого. Интернет был безмолвен по отношению дальнейшей судьбы обыкновенных, не ставших писателями, психологами или пианистами жертв, и эта лакуна навела меня на странное двоечувствие: я одновременно расстроился подделке, вмененной мне психиатром, и как-то вдохновился её содержанием. Да, мне вновь хотелось существовать, это была целительная встреча, мне стали ненавистны мои гримасы, мои фарсы и кризис, словно восстановление уже произошло в будущем, и оставалось лишь его дожидаться. Однако я сознавал, что мне предстояла масса работы — не для поверхности и вида, не чтобы превратить свою Пустоту в раскраску или накормить её, напротив — для борьбы с ней, для заявления теперь уже собственной воли.

Боевой дух продержался целых четыре дня, видимо, пока вещество АД не накопилось в организме, отложившись наконец в закоулках. За это время я успел сдать экзамен по профильной математике или литературе (сейчас не вспомнить очерёдность), отжаться от пола двести двадцать раз, создать три сырые минутные демки в чарующем меня жанре витч-хаус, сходить с Ней в кино

на «Меланхолию» фон Триера. Этот фильм, нет, эта работа меня, признаться, мало впечатлила как человека в похожем состоянии — я был в положении героини, которую вели за грудки в ванную и раздевали, чтобы помыть, я знал заранее, каково это, и потому повторный, пусть и мастеровито снятый, отпечаток на тему слабо деформировал эстетически моё восприятие — планетарный оперный масштаб картины, аллюзия на то, что чья-то личная меланхолия способна уничтожить человечество, показались несколько помпезными; Ей же, напротив, понравилось всё, от и до. Мой временный регресс сделал меня снобом, неприятным типом, и я перестал замечать жемчужины за илом — пусть и допускал их существование.

Но то лирика. Первый АД не оказался долгожданным NZT-48, который подобно WD-40 смазал бы мои R2-D2-подобные синапсы лечебными нейромедиаторами, нет, спустя неделю, проведённую без пользы, я обнаружил себя в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна, к интеграции через личную дифференциацию, к нормальной и счастливой жизни, к душевному здоровью, духовной гармонии — всё это на бренной земле достигается посредством труда, к которому я был непригоден, ведь фундаментально путал процесс с продуктом, реальные и ирреальные драмы, Мир и Волю, внешнее и внутреннее. Я пробовал, правда пробовал представлять себя улыбчивым семьянином, эту вторую точку, которая пресекла бы мой луч и оформила бы меня в отрезок, как каждого смертного, — и сделал выводы, уронившие меня обратно в кровать, в мою обломовщину. Прискорбно, но проверку первый кружок АДа не прошёл, и работы как явления я ещё чурался.

Второй круг АДа следовало разрезать на половинки, чтобы соблюсти дозировку. Его эффект можно было бы описать как усиленную припарку мертвеца — мои нейроны, словно почуяв осаду, сделались анти-сверхпроводниками, не пропускаая ни один электрон, поступающий от мозга либо ему посылаемый, в исходе

чего я лежал на кровати, как пакет нелепой картошки, и напрасно пытался что-либо подумать или почувствовать...

...нет, кругов АДа было всего не девять, на четвёртой или пятой итерации врач предложил мне применить нейролептик. Его а-/эффект можно описать как гвоздь в крылья, как уплощение личности или пробник терминальной стадии шизофрении, под его безжалостным действием я стал практически земным, появились опасливые, трусливые мысли об экзаменах и будущем, я обнаружил, что мне нечем гордиться, ведь я не трудился, и гордыня, единственный путеводитель по враждебной территории мысленных чертогов, расслоилась, как клён к декабрю, осыпалась и испустила дух. Мне было семнадцать, я был лентяем, неучем и невежей, который перечитал заумных книжек и решил было, что эрудиция заменяет интеллект, да, мои измышления были квази-, если не псевдоинтеллектуальными, и тем разительнее был контраст между ними и тем, что я не мог заставить себя решить простенький пробный вариант к экзамену. Я всё же начал работать, продолжил подготовку, занимала она в десять раз, на порядок больше времени и усилий, мои КПД и IQ упали в столько же раз, словно я был скрипкой, которой некий космический пятимерный демиург беспощадно забивал, посмеиваясь, ведомые лишь ему болты; время перешло в slow-mo и стало густым кремовым тортом, который приходилось ежесекундно разгребать, чтобы не захлебнуться; был рыбой, которую принуждали скакать по лианам, ни конца, ни края этому мучению не было видно. И но, под этим давлением, соразмерным с небесами, под этой биохимической пыткой я вдруг представил, что никогда не найду работу себе под стать, что на корабле тоже придётся работать, что я завершу свою юность преждевременно и в богадельне, представил, что от меня уйдёт Она, не дождавшись, — и в этой точке нечто важное, даже центральное очнулось во мне, некая витальность, доселе спавшая летаргическим сном, — точного определения этой неведомой силе, этой Воле невозможно подобрать ни одному философу, коучу или поэту. Я вдруг ясно осознал, что в моей так называемой депрессии,

как за километрами ила, таилась жемчужина силы, что ни один консильери или колесо АДа, никто и ничто, кроме меня самого, не сделает меня другим или хотя бы не поможет выжить, пока я сам того не возжелаю.

И я возжелал — и труд, которого я боялся, как неандерталец огня, стал, наконец, вторичен. Таблетки стали не нужны.

VI

*«I'll escort her mind to solve my crimes
Reach slow motion, con the mind»*

King Krule

Я очнулся в коматозе, словно выпал из окна и разбился в мясную запеканку. Мои красные глаза уставились в потолок и мгновенно насчитали двенадцать сотен микроскопических трещин на его жёлтой поверхности. Рядом началось шевеление.

— Что с тобой? — прозвучал сонный девичий голос, и я вскочил с кровати, в два шага подбежав к окну.

За ним дёргался в агонии утилитаризма мегаполис, пьющий кровь день за днём, и я уткнулся вспотевшим лбом в ледяное стекло. Изящная фигурка покинула постель и беззвучно прокралась в тени. На мою спину легли две лёгкие руки.

— Ты снова чувствуешь? — спросила девушка, и я, задрожав, еле кивнул.

Руки скользнули и обняли меня, на спине ощутилось прикосновение мягкой щеки.

— Я с тобой.

Паника. Ярость. Судорога.

Я знал, кто Она. Я ненавидел. Я любил. Девушка за моей спиной сосредоточила в себе весь спектр моих бушующих эмоций, излучала сияющий свет совершенства. Она была светочем, Она

была святыней, на которой я приносил молитвы Вселенной и её хаотическим порывам творить порядок в тотальном безумии. В моей голове, как мыльные пузыри, лопались звёзды, космическая тьма разрывалась в клочья, и за ней в сумасшедшем сардоническом шоке колотилось ядро цветущего безграничного мира. Я видел, как идёт кислотный ливень на Венере, как взрывается озоновый слой на Марсе, и ядерные атаки стирают с лица красной планеты все двенадцать цивилизаций космических покорителей и носителей разума. Цунами и ураганы в мантии Урана, разрушение льдов в кольцах Сатурна... Я видел, как цветёт трава на планете Земля, видел, как сохнет краска на стене заброшенной фабрики, как в глубине океанского мрака гигантский кальмар ползёт по спине двенадцатикилометрового левиафана. Я рыдал, когда погибали динозавры, когда в северных морях тонули мамонты, когда высыхали облака на небе и первые люди жгли костры на могильных курганах. Дым поднимался к небесам, и его ядовитые клубы неслись прямо к звёздам — туда, где свет далёких огней доходил от взорванных, уже мёртвых шаров света и жизни. Я видел, как истончаются ткани планет, как гибнут целые системы, как девичья рука срывает цветок и в ту же секунду прекращает жить целая галактика...

Жизнь. Жизнь. Жизнь.

Я ударился лбом о стекло, чтобы услышать его звон. Руки девушки вцепились в мою грудь.

— Я не дам тебе упасть, — прошептала Она. — Дай им выйти, дай себе выдохнуть. Отпусти их и открой глаза.

По моим щекам текли горячие слёзы, и я начал скрести ногтями по окну. Двенадцать тысяч зданий росли бетонной грядой за преградой стекла, мёртвым грузом нависая над пропитанной потом и кровью выгоревшей землёй. Фонари в ночи сияли ядерным переливом, от них исходил жар, сжигавший заживо подлетающих мотыльков. Разбитая лента дороги душила жилой

квартал, выжимая из него остатки свободы, зловонным ручьём утекавшей в канализацию по гнилым трубам. Под моими ногами медленно согревался дырявый линолеум, постеленный забывшими о нём строителями будущего, которое так и не пришло. Я учащённо дышал, сердце моё рвалось из груди, дробя грудную клетку. Девушка обнимала меня всё крепче, вслушиваясь в сонату моей паники.

— Чувствуй, чувствуй, милый, пусть оно из тебя выходит, — продолжала Она нашёптывать мне на ухо, а я воочию видел молниеносные огни импульсов, разрывающих мой мозг в отвратительные горящие лоскуты. Мои красные от недосыпа глаза неистово суетились, пожирая литры информации вокруг и моделируя всё, всё на этом свете, пока я стоял, дрожал и бился лбом о стекло, которое тоже начало нагреваться. Табуны антилоп бежали по саванне, гонимые львиным прайдом, и на моих глазах блестящие клыки вонзались в напряжённую разгорячённую плоть. Яростное солнце опаляло африканский ландшафт, и антилопы погибали в лапах неутомимых кошек. Слоны шли на водопой — они стояли на костях предков и не ведали, что в двенадцати тысячах километров в вечных льдах навсегда утонули их далёкие родичи. Звёзды светят всем одинаково, звёзды умирают для всех одинаково — тогда почему мы никак не можем ими насытиться?

Ненависть. Боль. Стенания.

Я плакал, задыхаясь от слёз, и поминутно сглатывал, отбивая головой по стеклу прежнюю трель сумасшествия. Моя рука потянулась к ручке окна, и нежная ладонь остановила её.

— Не надо, — шепчет девушка, и мои губы дрожат.

— Видеть. — Бормочу я срывающимся голосом. — Видеть! Начни видеть! Увидь это! Двенадцать миллионов миров разверзаются перед тобой, и в каждом из них нас видят те, кто сходит с ума, полностью и бесповоротно. Раздражённые зрачки, обожжённые огнем рыдания, бешено выглядывают хоть кого-

нибудь — и что мы скажем им, когда они наконец увидят нас? Я скажу тебе! — Резко распахиваю окно, и в комнату врывается мощный порыв ветра, раздувающий мои взлохмаченные волосы. Я безумно улыбаюсь, и глаза мои светятся абсолютной яростью. — Всё! Мы видим ВСЁ!

— Мне холодно. — Тихо произносит Она, и я разворачиваюсь к Ней своей пламенеющей фигурой. Она сжалась в моей тени, на Её бледном лице мелькает страх. Я мгновенно хватаю Её и прижимаю к себе, тут же смачивая ночную футболку засыхающими слезами.

— Я всё исправлю, — дрожит мой шёпот, — Дай мне сделать это. Выплеснуть. И всё кончится.

— Пожалуйста. — Просит Она, и я, отпустив её, иду в глубь квартиры и включаю свет. Он бьёт в глаза, вынуждая зажмуриться, но мне начхать — я хватаю малярную кисть со стола и макаю её в банку краски.

Передо мной голая бетонная стена, покрытая следами предыдущих взрывов. Беспорядочное хаотическое нагромождение полос, фигур, пятен и клякс, вызывающих головную боль от обилия цветов и форм. Сжав до побелевших костяшек кисть, я начинаю в дикой яростной эйфории наносить стене удары, оставляя красные в этот раз шлейфы. Кровь творения льётся на бетон, и я рисую дальше, поминутно разбивая кулак о прохладную поверхность бетонной замены холста. Она бесшумно появляется в комнате и молча наблюдает, как брызги краски разлетаются по помещению, и красные капли сохнут на моём разгорячённом торсе. Удар, удар, ещё удар — уже двенадцать десятков мазков изувечили молчаливую стену, и в конце концов я начинаю кричать:

— Ты или я? — Кисть трещит под давлением руки. — Сколько ещё осталось? Почему ты молчишь? Почему ты молчишь?! Говори со мной, объясни мне! — Ведро краски едва не падает от неосторожного макания. — Ты и твои атомы, твои звёзды, твои планеты и квазары — всё это вымысел, ты сама вымысел — зачем ты вообще нужна? Почему? Почему ты есть?! Я тебя ненавижу!

С этими словами я швыряю кисть в угол, хватаю ведро и выплёскиваю краску на стену. Цветистая жидкость разлетается брызгами, покрывая комнату красными потёками, заливая меня с ног до головы и оставляя на стене безмерное пятно. Тяжело дыша, я приникаю к нему и пальцем рисую на нём точки.

То же небо. Только красное.

Хлопнув ладонью и оставив отпечаток, я, чуть дыша, оборачиваюсь к девушке и без слов падаю на колени. Вздохнув, Она подходит и садится рядом. Долгое время мы сидим молча.

— Вышло? — тихо спрашивает девушка, и я киваю, чувствуя, как пересохло в горле. Она опускает голову и еле видно улыбается. Я замечаю это.

— Что? — У меня голос нашкодившего ребёнка. Она смотрит на меня смеющимися глазами.

— Ты избил Вселенную за то, что она с тобой не разговаривает?

Я чувствую, как к носу подступает смех.

— Чёрт, а ведь да. Твою же мать.

Девушка звонко смеётся и обнимает меня, я прижимаю Её к себе. Смотрю не моргая на брызги краски на Ней.

— Я, наверное, перебо... — но Она тут же перебивает меня.

— Молчи. — Её голос отдаёт сталью. — Сейчас ни слова. Ты помнишь, что нужно делать?

Ты всегда знала. Я знал. Мы знаем.

(Опиши, попробуй — и правда станет вымыслом)

VII

*«Я целую тебя через марлю, стоя на эскалаторе
Который везёт нас в туман лета <...>»*

Михаил Енотов

Экзамены я всё-таки сдал и даже не так плохо, как мог бы, — по крайней мере, тот остаток, что пришёлся на дни после святого осознания жемчужины в себе. Теперь, достигнув своего предела, своего центра и освободившись тем самым, я мог уделять время Ей. Её мать уехала на дачу, до самого сентября, и у нас было целое лето для нас двоих.

У Неё дома что-нибудь вечно нуждалось в ремонте: то подоконник накренится, то потолок неровный, то я стены краской избиваю. Этот непреходящий ремонт, борьба с энтропией за статус-кво были сутью Её обители, Её ярмом и крестом, которые я тоже попробовал освоить. Именно здесь я приобщился к великой культуре мытья посуды, древней традиции протирания пыли, уважаемой философии пользования пылесосом — последнее пришлось мне точно по душе в силу показавшейся очевидной аллюзии в работе пылесоса на мой собственный взгляд на мир: тащить вовнутрь всяческий мусор, пока им не переполнишься, и не настанет момент его выноса, священный момент очищения. Впрочем, наш звёздный, наш жемчужный быт этим далеко не ограничивался — мы были юны, пламенны и полностью предоставлены друг другу... однако не будем о частном.

Здесь, увернувшись от дачи, остался старый, двенадцатилетний серый кот — Она с его помощью определяла, хороший человек перед Ней или плохой. Позитивный исход — кот игрив, нежен и приветлив с пришельцем, и ровно наоборот в случае исхода

негативного; по Её словам, работало без исключений. Мы стали жить втроём, и здесь я впервые за предисловие жизни был вынужден задуматься о деньгах, ибо Её мать пряталась от Нёе в своём дачном домике, и в её досуге не было пункта «отправить денег дочери». Делать нечего — пришлось монетизировать братову гитару, превратить её в ремесленный инструмент.

Я играл в переходном подземелье каждый день (дважды в день), в часы пик, когда платежеспособного человеческого ресурса было много, и статистически, если в часы малой активности деньги кидал каждый тридцать седьмой, можно было повесить как суммарную прибыль, так и конверсию. Мне было антипатично коммерческое мышление, оно казалось бескровным, циничным, тщедушной заботой о комариной плещи, однако идея физического, традиционного труда на складе или стройке была не то, что антипатична — была пока чужда — и я решил в кои-то времена не насиловать самого себя, выбрать между плохим и ужасным и остановиться на бытие барда, на том, чем когда-то зарабатывал брат.

В качестве иллюстрации бардовых будней и своего замечательного расположения духа на тот момент сейчас я продемонстрирую заметку с середины июля, с экватора того лета:

///«Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадёжный труд» — Альбер Камю

К счастью, в отличие от Сизифа, мы живём в мире, который не ограничен одними лишь валунами — образной рутинной. Как на облачной ярмарке, мы блуждаем между рядами торговцев досугом, прибываясь к понравившимся, пока щупальца долга не вырвут нас из небесного конденсата и не ударят с размаху о землю.

Видишь этого парня в чёрных очках и наушниками на шее? Он торгует концертами. Заметил девушку в атласно-голубом платье и венком из ромашек на голове? За ней — проведение времени на природе. Углядел юношу, измазанного краской, с безумной искоркой в глазах? Он предоставляет убежище тем бедолагам, которые тянутся к творчеству. Сегодня выходной, и у всех них достаточно работы — вокруг каждого из продавцов собралась разношёрстная толпа.

Но нам не к ним. На складном стуле, чуть поодаль от всех продавцов сидит юноша с гитарой, который, казалось, слился с мелодией. Подождёшь, пока я переброшусь с ним парой слов?

Характер у него, к слову, прескверный. Он считает свой товар слишком ценным, чтобы предоставлять его каждому зеваке, а потому перед тем, как снабдить человека досугом, он устраивает ему испытание. Если человек горит желанием освоить именно этот досуг, он должен пройти несколько месяцев не особо вдохновляющих тренировок... Неудивительно, что людей рядом с ним было намного меньше. Наверняка его бы уволили, если бы было кому — он ведь космическая сущность, занимающаяся торговлей исключительно со скуки...

Повезло же мне иметь этого некто в давних приятелях! Мне даже удалось выпросить у него стул — впрочем, это ведь всё равно мой стул. Как он к нему попал? Долгая история.

Что же, талон на досуг у нас — не будем терять времени!..

...длинный коридор, разбитое стекло, мигающий свет лампы. Чьи-то гулкие шаги в отдалении... Где это мы? Не спеши с вопросами.

Я раскладываю стул, выуживаю гитару из чехла, бросив последний на пол. Пока я настраиваю инструмент, отпечатки всех людей, что здесь проходили, невидимые обитатели этого места, изнывают в предвкушении.

И вот — первая нота. Первая капля источника, что омоет это место, начало небольшой жизни, зарождение Вселенной. Я чувствую невиданную ответственность, ведь я начинаю новую историю, неповторимую в своей самобытности. И хоть мне

известно, что эта история рано или поздно завершится, это вовсе не повод к ней не приступать.

Место, в котором мы очутились, преобразается. Ты заметил, лампа мигает в такт моей мелодии, а свет от неё рассеивается в осколках стекла, в своей предсмертной агонии порождая чудесные радужные узоры (подобно гусенице, что преобразается в бабочку, оживший однодневный цветок)? Собравшиеся замороженно слушают томную трель, что, кажется, исходит не от одного лишь инструмента, но из тихих складок моей души.

Мелодия завершается, и, как только звучит последняя её нота, демотические людские копии раздражаются в аплодисментах. Теперь ты просишь меня сыграть нечто попроще и повеселее.

Мимо проходят люди, настоящие люди, по своим земным (или нет) делам. Я всегда любил наблюдать за ними, угадывать их биографию, угадывать эффект, что производит на них музыка. Многие безразлично проходят мимо, некоторые спешно надевают маску презрения, есть и те, кто восхищены игрой и даже останавливаются, чтобы послушать. Последние иногда оставляют в чехле купюры разного достоинства.

Уже прошло детство и юношество этой музыкальной истории. Я начал период зрелости, приступив к лучшим своим песням. Музыка заполняет не только окружающий мир, но и мир внутренний, изгоняя из него тёмные мысленные завихрения, что появились во мне, пока рутина била телом плашмя о землю. Своеобразная терапия и для меня, и для этого места, которое, благодаря мне, снова живёт.

Симбиоз меня, как олицетворения идеи, и мира вокруг, как олицетворения материи, завершается с финальной нотой вечера. Созданная мной Вселенная останавливается и погибает. Копии прохожих, прикованные к этому месту, кидают на воображаемую сцену цветы и провожают неистовыми аплодисментами. Я чувствую себя Богом, зародившим и уничтожившим жизнь. Но, продолжая аналогию, даже Боги рано или поздно умирают.

Считаю прибыль за вечер, складываю стул и гитару и направляюсь домой.///

...здесь и сейчас, на шхуне, было бесконечно далеко от тех мест и времён, далеко по всем четырём осям, но я смело полагал себя счастливым — драя деревянный пол, скучая в морской безбрежности, болтая с Ягдрой и прячась от выпившего Капитана — таким же счастливым, как в то лето две тысячи десятого; дабы нивелировать непрощеный диссонанс, нарратив возвращается к прошедшему времени.

Мы часнї ходили в магазин вместе, отстаивали очереди — в них непременно каждый раз находился курильщик, которому позарез нужны сигареты такой марки, которая есть только на закрытом стенде в другом конце помещения, и кассир покорно плёлся на поиск, и очерёдный народец злился, и мы с Ней тихонько смеялись над этим воришкой времени — тратили всё собранное с благотворительного краудфандинга на еду, назло накопительству. Мы стали заядлыми кинолюбителями, посещали кинотеатр, крутивший позабытые и нетленные, хорошо состарившиеся авторские и зрительские картины. Мы подолгу лежали в обнимку в буферное время между часами пик, Её рука на моём торсе, и вечность казалась бесконечно короткой, длиной в лето. Некоторыми кошмарными ночами я чувствовал, как раньше, но стену всё равно ждала побелка с приездом Её матери, и мы решили совместно, что этот способ справиться с эссенцией экзистенции лучше, чем снова изолировать себя и устраивать *хождения*.

Иногда я приглашал Её побыть аскером вместе со мной, и, когда борьба с энтропией отпускала Её, мы в паре, словно «чистые» Сид Вишес и Нэнси Спанджен, грабили, как Клайд и Бонни, пользующихся современным подземельем, буквально вытягивали купюры и монеты из их карманов удочкой искусства, принуждённого к ремеслу, — Она стояла с кепкой, осенённой логотипом моего будущего вуза, в руках, пока я завывал братовы песни вроде:

— I would perish like a child
Ought to die before his birth
Never had a chance to glow
Never thought to be unborn

I would grimly stare at trees
Trying to explore the hidden
Secret of being so brittle
While reviving, times to times

I'd attempt to write a prose
More obscure than some of Walles
Lesser would know where my notes
Then will go, deceived by bodies

I'd decide to live a life
Of a speechless dumbo writer
Dim as fast as flame of lighter
When it runs off all the gas

I would try to comprehend
What is purpose 'o' all of this
I'd at least die trying
I'd at least die trying

Бродячих животных мы, конечно, не собирали, но грезили Олимпийским или какой-нибудь другой площадкой только так. Это была идиллия перед девятым валом; в редкие самовольные выходные я занимался ноутбучной, не гитарной, музыкой, точнее, мы занимались — я на битах, Она на вокале — и пусть эти фрагментарные поделки никогда не увидят светскую действительность, уж слишком они нам близки, это было искусство, наше лето воистину им было — но вот настал и сентябрь.

VIII

«Nature never repeats itself... Why should I?»

Mack 187

Знаковый момент в жизни каждой самостоятельной единицы общества, главное место занятости, напряжённой (либо напротив) работы ума и сознания, словом, переломность — так я воспринимал начавшийся этап. Не ожидая от него многого, я надеялся, что относительно новый, неизведанный режим сделает из меня, наконец, если не Человека, то хотя бы человека.

Прошли приветственные пары, я едва-едва познакомился с одноклассниками, и здесь, почти сразу, наступил мой день рождения.

Этот день... был днём совершеннолетия, в самом этом слове сквозил поэзис, намёк на совершенство, общественный символизм, некая переходная точка, посвящение в смурную, полную забот и настоящей ответственности взрослую жизнь. Отныне я был как бы выброшен в свободный полёт, как птенец или камешек, в кажущуюся беспредельность возможностей, на деле строго детерминированную генеалогией, характером, воспитанием и событиями — в частности, потерей брата в моём случае — имевшими место и влияние До. Не сказать, что это осознание не посещало меня ранее, в блюзовой абулии оно виделось призраком грядущего, just a spook, однако теперь я подступил к нему на нулевое расстояние, и нужно было придумывать новую символическую дату, до которой следует доживать, — будь то 27, 37 или 137 лет. С этого дня я был обязан, как заведённый оловянный щелкунчик, жить и функционировать, и моя самосохранность становилась исключительно моей заботой.

Людей я после группового психотерапевтического сеанса сторонился и опасался, казалось, все они были объёмнее, трёхмернее, глубже, настоящее и разумнее меня, были рыбками покрупнее, и им, как казалось, ничего не стоило — ни усилий, ни внимания — подтолкнуть падающего: безобидным подтруниванием, тактичным вопросом, невинным интересом к моей персоне; и это в предельно положительном случае. У меня был ближайший круг, своё пространство в лице единственной Её, у нас было наше одиночество на двоих, loneliness 4 2, в которое никого не следовало посвящать, дабы не нарушать таинство, не включать в него губительный эффект третьего и не быть принуждённым к откровениям и показным излияниям души.

Тем паче я был смущён и сбит с толку, когда новые знакомцы с факультета встретили меня в этот день тортом и свечами, бутылкой какого-то премиального алкоголя, стеклянной банкой, доверху полной драже, кричалкой «Сюрприз!», смехом и, кажется, непоказушной радостью. Я не общался ни с кем, кроме Неё, с апреля, мне было неловко, страшно и совестно принимать участие в этой социальной ситуации — тогда я растерялся, не задул догорающее олицетворение ушедшего отрочества, и толпа однопоточников, хохоча, сделала это вместо меня. Этот социум казался приветливым и ласковым, я же был, в контраст, угрюм и заперт, огорожен от него — и эта тенденция сохранялась весь предстоящий срок обучения.

Позже, после третьей, последней пары кто-то из них предложил отметить мой день рождения и заодно познакомиться всем поближе. Они веселились и смеялись, обсуждали автомобили и права, исторические и актуальные политические происшествия, прошлые и действующие отношения, планы на жизнь и причины поступления на судоплавателя. Я, виновник торжества, отмалчивался, изредка бросая какой-нибудь социально-приемлемый факт на прямо поставленный вопрос, и места себе не находил. Мне хотелось протипировать каждого из соображений

предупредительного удара, мой инстинкт самосохранения вопил во всю глотку и запрещал общаться, не позволял расслабиться и вынуждал анализировать каждую деталь. Именно здесь, кажется, я понял, что, хоть общество света — явление не чудовищное, в нём не было уместности для рассказов о витч-хаусе, о парном áскерстве с Ней, о доведении до слёз полной блондинистой психоаналитической дамочки одиозными словесными пустышками, о походе к психиатру, о блюзе и аутоагрессии, о том, что я всё ещё не хотел работать, о потере брата — в общем, в нём не находилось места для меня, протянутые ко мне руки виделись лицемерием и обманом, и я представлял, как падаю в них, доверившись, а они всё с тем же балагуристым смехом размыкаются, отстранившись, и я больно бьюсь затылком об асфальт в лунапарке, где находится этот метафорический аттракцион.

— Эй, именинник, а почему ты решил стать моряком? Тоже предки доконали? — Обратился ко мне наш староста, щуплый и бойкий парень-шатен, уже со своей подержанной машиной и девушкой, нашей одноклассницей.

Как бы то ни было, в любом обществе следовало оставаться честным — чтобы не волновать душу, чтобы не плодить сущности и сохранять базовое уважение к миру, каким бы чуждым ни казался он и каким бы отчуждённым ни был я.

— Если честно, я и сам не знаю, надо было куда-то деваться. Наверное, да, из какого-то протеста. — Чуть сбивчиво проговорил я в ответ.

— Хах, ну добро пожаловать в клуб — мы тут, оказывается, все такие. — С некой самоироничной ехидцей рассмеялся староста. Каждый от чего-то бежит.

— Ещё... мне нравится море. — Выдал я и выругался про себя за непрошеное откровение.

— Ну это естественно... — протянул он в ответ.

Мы расположились в приятном ресторане неподалёку от корпуса вуза, заняли четыре стола, которые пришлось сдвинуть вместе; кто-то предложил открыть ту бутылку с алкоголем, жалуясь на скотские цены алкоголя здешнего. Это была моя первая проба спиртного, она, как ацетон, растворила мои социофобные водоразделы, и я едва не разоткровенничался — в действительности, просто вовлёкся во времяпровождение, припал к нему, как пустынный путник к воде оазиса, как приголубленный мудрой материей блуждающий дух, как... я хотел бы обратить особое внимание на значимость этого первого опыта: я понял, что могу полюбить пьяное состояние навсегда, если разрешу себе выпивать и далее, оно позволяло такому, как мне, вписаться в социум, как самокату на дороге-серпантине, а так как алкогольный досуг был одной из составляющих коморбидной болезни нашего общества — наряду с порнографической и в целом наркотической зависимостью, недоразвитой эмпатией, оттеночно-серой традицией мышления, затуханием нравственности, повальным невротизмом, пассивной агрессией, контртеологией и непрерывной штамповкой сущностей — общества, в которое я вписываться не хотел, просто чтобы не утратить себя, я пресёк свой и без того запоздалый пубертат и принял нелёгкое решение держаться от алкоголя в стороне, чтобы однажды, в один пасмурный денёк, не навредить ни себе, ни окружающим.

Это был первый и последний раз, когда я пил с одноклассниками.

IX

*(Как бы тверда и сплочённа ни была твоя группа
поддержки, путь предстоит осиливать
в одиночку — путь в гору, не имеющую вершины,
путь вглубь пустыни, не имеющей берегов)*

Преподавателям я как-то сразу не понравился, не обронив при том на приветственных парах ни слова. Вероятно, каждый, независимо от технического либо гуманитарного характера вверенного ему предмета, посчитал, что я — из того типа студентов, которые относятся к получению высшего образования как к отсрочке зрелости, читай, недобросовестно и небрежно, хотя мой настрой был противоположен: я желал познать как можно более детально свою грядущую профессию моряка, проникнуть в суть её, её изнанку, которые ни одна экранизация «Морского волка» не могла бы достоверно передать, внушить, открыть мне. Они были правы насчёт моей несолидной, иронической мотивации — я искал в предстоящем обучении эстетическое удовлетворение, шведский стол для ума, охоту на трофеи, а не теоретические познания, практические навыки и уверенность в завтрашнем дне; в общем, поступив на моряка, становиться им я не очень хотел, мне больше нравилось восхищаться поэтическим потенциалом этого образа, со стороны и не воплощаясь в нём, нежели, вооружившись метафорическим долотом, вытаскивать его из бездны бессознательного, как скульптуру из камня, но брат хотел бы меня видеть здесь, не говоря уж об отце и матери, так что — делать нечего — я принялся точить зубы вплоть до дёсен о сияющий непоколебимый гранит знания.

Предметов, достойных упоминания, было всего четыре: теория судна, судовождение, высшая математика и философия. Последние два сдавались на платформе Мудл, второй был

практическим, а первый — наиболее истязательным из всех. Хотя система учебного учреждения — домашние задания, коллоквиумы, семинары — сохранялась, сменив номинативы, я не ощущал себя, как в лицее, рабом на чайной плантации, римским гражданином по макушку в долгах в недолгую эпоху двенадцати таблиц, приневоленным к поглощению малополезного, хаотически распределённого знания, напротив — в этом дидактичном, давно и строго налаженном механизме каждый винт, каждый шаг и каждое усилие имели своё назначение, и я проводил аналогию с собственным организмом, малейший сбой в котором мог привести к фатальным последствиям, отбраковке или, если вернуться из аналогии обратно, отчислению. Оставаться бракованной деталью на периферии бытия я больше не хотел, мне больше не было наплевать на остаток жизни, потому я постановил, что всё-таки выточу из бесформенного материала самого себя какую-нибудь фигуру — будь то моряк, бродяга или непостижимый человек-швейцарский-нож. Следовало избавиться от парадоксальных мыслей об объятьях со всем Миром, едва имея в плечах прямую сажень; пора было постигать течение воды и учиться трудиться — на данном этапе, учиться учиться. Так продлилось целых полтора месяца.

Музыку — плагины и гитару — пришлось на время оставить. В отличие от беспомощного, но гордого блюза, смысл которого был описан ранее, электронные творения были наиболее точным отпечатком, образцом, продолжением моей души — и нынче она была привлечена самой собой к стоическому молчанию. Её воды, как озера Леты, заполнялись академичностью, наукой, знанием — не сказать, что сухим и безжизненным, я находил поэзию и в вырожденных матрицах, и в маломерных катерах, и в Вечном Возвращении философии жизни — даже в диалектическом материализме, от которого плевались одноклассники. Мы были все до одного сторонниками идеализма разной степени терпимости к реальности — к примеру, вышеозначенный староста был, пожалуй, идеалистичнее даже меня, был гуманистом

до центра костей и, вероятно, поэтому вызвался на эту сверхвременительную должность.

Но перейдём к конкретике. Преподавателем теории судна был Анатолий Голобородько — крупный мужчина почти под два метра, глаза которого не прекращая бегали по аудитории, одетый почему-то в неизменный белый санитарный халат, — на первой паре он назвал себя «сознаниеправом» и предупредил, что выправка нашего сознания будет болезненной и перенесёт её не каждый, но только так становятся настоящими знатоками, мастерами вод, судоплавателями. Высшую математику преподавал пожилой мужичок-денди в стильном костюме-двойке с розочкой, менявшей свой цвет по дням недели, в нагрудном кармашке. Преподавателей философии было несколько — это была именно философия, не история её, и полифонизм в этом деле показался мне намеренным и уместным. Судовождение, среди прочих, преподавал Жека — Еуджен Праслов, если официально, вроде он был латышом или кем-то в этом роде — я был совершенно не готов увидеть его здесь, соприкоснуться с реальностью своего детства, с её странным совпаденческим юмором — но Жека-Еуджен, кажется, меня не вспомнил. Остальные предметы обтекали меня, как камень водопад, и, продолжая метафору, я сопротивлялся водному течению — где-то отмалчивался, где-то произносил ровно то, что следовало в данной академической ситуации, ни больше, ни меньше, прикрывал недостаток знания избытком кругозора и обаяния — словом, не позволил этим предметам вползти в меня, потому упоминать их не стану.

Высшая математика, по аналогии с высшим образованием, это не столько сухой набор логических инструментов, аксиом и доказательств, не столько мука и деформация сознания в угоду мутно-прозрачным абстракциям, напрочь оторванным от реальности, нет. В первую очередь, это язык, некий модус, фундаментальный принцип здравого мышления, свод условностей, по которым можно отличить тех, кто «в теме», от проходимцев в любой сфере деятельности, — от математико-

прикладных до международных отношений, от психологии до литературы, от музыки до судовождения — это тайное знание, которое, как и полагается всякому тайному знанию, спрятано у всех на виду. Я был искренне убеждён в спекулятивности разделения людей на так называемых технарей и гуманитариев: любому типу мышления не помешала бы организация, расставление внутренних инсинуаций по полочкам, особый, почти музыкальный ритм, задаваемый мыслям, облагораживание сознания посредством свободного, почти не замутнённого практическим применением (и оттого лишь кажущегося бессмысленным) умственного труда. Метафорой, царица наук радушно приняла меня в свои невольники. С философией дело было противоположным: она, как наука, претендующая на верховенство даже над математикой, была насквозь персонифицирована, великое множество дискурсов и нарративов складывались в разношёрстный эклектический коллаж, по которому можно было, пусть и не без усилий, отследить развитие унитарной человеческой мысли со временем и сменой эпох. Как детектив с красной нитью на рабочей доске, я вместе с преподавателями и сокурсниками пробовал связать других «детективов» с их красными нитями, и всё это сплеталось в гигантский красный алекситимический клубок, невыражаемый клубок гнозиса, первичного знания, и тогда, получив его первый образ, мы принимались за дело по-настоящему; в этом смысле математика с философией работали в паре — вторая добавляла новые методы мышления в бессознательное, в то время как первая распределяла их по уровням, от актуального до изжившего себя, как центрифуга девственную взвесь из фактов. Их тандем не оставил от меня живого места, и я сам желал этого уничтожения, ведь их неукоснительный гнёт спасал меня из лунапарка бессознательного на тонком льду, позволял держаться на поверхности, не утрачивая ясность сознания. Я обнаружил, что ранее исследовал, например, Кьеркегора исключительно ради чувственного наслаждения, ради аргументов в споре с воображаемыми оппонентами, нисколько не намереваясь предлагать людям себя взамен Христа, а это, по-моему, конечная

цель всякого *странного* человека на этой земле. Я выяснил, как интегрировать и дифференцировать, поэтому ни интеграция в общество, ни собственная дифференциация как хоррор-образы больше не имели надо мной власти — при желании, я мог пройти и это, и то. Теория судна была... в абсолютную новинку для меня, мой возведённый братом кругозор доселе не сталкивался с этим потайным знанием, и именно на этом предмете я обнаружил различие между профессионализмом и позой, между деятельностью и клоунадой, между знанием и квазизнанием; Голобородько за нас крепко взялся, как пастырь в шкуре волка, чертежи он оценивал без пощады и даже почти без следствия, рисуя поверх проделанной работы облачко и свою подпись, что значило — незачёт; основы морского права под его началом были, пожалуй, самым сознаниемродробительным опытом за весь срок обучения: великая тьма новых образов, понятий — континентальный шельф, свобода открытого моря, борьба с пиратством и множества прочих — как флотилия или колода накрыли меня и требовали, чтобы не потеряться в этой Бермуде, такого уровня систематизации, с которым не справлялся даже вышеописанный тандем. Впрочем, чтобы далее не утомлять и не походить на первокурсницу на втором свидании, несколько охлаждаю свой пыл.

Продлилось это чудо гностики, этот ударный стахановский режим, эта ассимиляция меня и науки, как уже было сказано, целых полтора месяца. За этот срок я успел проболтать Ей все уши усвояемым — я был как фанатик, который попал в единственно верную секту, — и даже почти не жалел, что учёба отнимает все мои время и внимание. Но вот произошёл короткий диалог по видеосвязи:

— Нельзя же так упакиваться. Выгоришь. — Выразила беспокойство Она.

— Но мне это нравится! Чем больше я вкладываюсь, тем больше сил ощущаю. — Возразил я.

— Я понимаю, но... мы с тобой весь сентябрь не виделись.

— ...

— А у меня новости...

Новости были такого характера: Её мать купила себе квартиру в соседнем городе и теперь готовилась съезжать. Это событие открывало двери к нашему совместному проживанию, выводило нас на следующий этап, серьёзнее предыдущих, в нём наши взаимоотношения начинали расти и развиваться на качественно новом уровне, наш мутуализм становился союзом, мы становились молодой семьёй в гражданском браке и т. д. Я был не сказать, что поражён, новость не была неожиданной и когда-то должна была иметь место — и всё было бы замечательно, если бы не маленькое, тщедушное «но»: у меня совсем, ни копейки, кроме коллекционных с братовых писем, не было денег, за лето мы с Ней всё потратили, не отложив, а отец, обнаружив, что я не юродивый какой, а всё-таки способен к труду, оплатил разве что первый семестр, и на том его финансовое участие в моей жизни справедливо ограничилось. Пожалуй, впервые я задумался о том, насколько довлеющее влияние имеют деньги — нам с Ней предстояло выживать в этом капиталистическом симулякре мира животных, называемом цивилизацией, в этой обманчивой мимикрии под Эдем, в этом аналоге пищевой цепочки, где мы пока были неоперившимся планктоном, покупать на какие-то шиши товары для пропитания по самым унижительным скидкам, платить квартплату и пр. Я был к этому долгожданному событию не готов совершенно. Выйдя из недр адской пустоты, я столкнулся с теми особенностями бытия, что меня в эти недра загнали. Но снова заниматься собственным остракизмом у меня не было желания, это илистое болото было изучено достаточно хорошо, и я предстал перед Жизнью и её каверзой — учиться, работать, всё вместе или ничто порознь. Казалось, что подобные не особо интеллектуальные и привлекательные ребусы мне придётся разрешать до самых титров и занавеса, и их беспрекословное, определяющее влияние на мою судьбу раздражало, выталкивало обратно в блюз и его обломовскую периферию; впрочем, я не поддался.

В двадцатых числах сентября, пока ещё был сезон аскерства, я вновь облюбовал переход около почти ставшего нашим с Ней дома. Завывал перед парами и вечером, стал просыпаться на полтора часа раньше, практикуя по утрам медитации, которые заключались в обзорной ревизии поступков вчерашнего дня, приведении в подобие себя-вчерашнего с собой-текущим, придумыванием какого-нибудь хитроумного абстрактного вопроса, которым можно задаваться в течение дня. Всё с закрытыми глазами. К учёбе я стал относиться ещё яростнее, сражаясь с преподавателями за каждый балл вплоть до высшего, посвящая больше часов подготовке и осмыслению материала, — и принося в жертву своё участие в нашей с Ней домашней энтропийной баталии. Пока я был занят воплощением себя, своим становлением, попыткой хоть на секунду стать Человеком параллельно с собиранием грошей от незнакомцев и тратой их на наше выживание, Она была брошена наедине с распадом и беспорядком, с ежедневным расползанием картины домашнего мира, с которыми Ей приходилось справляться и обращать вспять в одиночестве.

(Историчный ли я человек?)

— Я так хотел!

(ту-таа, ту-ту)

(Каков цвет зависти?)

— Принадлежать.

(ту-ту, ту-ту)

(Бытие или сознание? Или ни то, ни другое?)

— Чему-то большему, чем...

(та-та, та-та-та)

Блюз — моя отдушина, моё поражение — стал всё чаще озвучивать подземелье. Я находился между тремя шестернями —

учёбой, «работой» и Ней — прижатые друг к другу вплотную, они не могли ни завестись, ни двигаться, классический инженерный парадокс. И но, градус драматизма превышен уже несколько и в несколько раз, поэтому, чтобы его слегка снизить, расскажу, как толпа одноклассников в самом начале октября застала меня за моей внеучебной выживательной деятельностью:

— Ты ли это, Моряк?..

Я вспомнил, как в алкогольной ацетонной эйфории всё же выдал откровение и поделился причинами, по которым хочу уйти в море, — в абсурдной мечте найти там брата — вероятно, это послужило причиной иррациональной для судоплавательного вуза клички. Помню, с каким восторгом и чуть не аплодисментами они приняли это небольшое признание, и вот мы здесь все снова собрались, сменились лишь декорации и точка на временной оси.

— ...

— Ох ты ж, да это правда ты! Бардствуешь, оказывается? — Рассмеялся староста.

— А давайте The Cranberries споём?

(Только не это)

— Замри, замри, замри-и-и! — Прогорланил один русский паренёк.

— Тьфу, ну и пошлятина! Давайте лучше Ecstasy их же. Ты ведь её знаешь? — Обратилась ко мне девушка старосты.

— Ващет это личный соло-проект Долорес... — Поднял палец занудный, по крайней мере на парах, парниша в круглых очках без диоптрий.

Это вторжение в мою публично-частную жизнь было настолько же нежеланным, насколько неожиданным, вуз находился в симметрично противоположной части города, и я ударился в лихорадочные параноидальные размышления — почему они здесь оказались, зачем третируют меня и что за юморная

превратность судьбы поставила нас в такое — неловкое для меня и вольное для них — положение. Вновь пользуя шестерённую метафору, я был меж двумя жерновами — блюзовых бесов изнутри и общества — пусть невраждебного и располагающего — снаружи, размалывался, как мельничное зерно, — и наверняка моё волнение было отмечено, учтено и взято на вооружение. Любые контакты с Человечеством выводили меня из метастабильного духовного равновесия, я становился пугливым и мнительным — так, словно сам к нему не тянулся.

— Мы тут это, тур по барам устроили. — Проговорил староста и подмигнул. — Хочешь с нами?

(Ни денег, ни желания)

— А, э, почему бы и да. — Неожиданно для себя выпалил я. — Только пить не буду, я...

— Дай угадаю: на таблетках? — Староста прищурился и сочувственно усмехнулся. — Не бойсь, не ты один. Вообще, и я по правде, но решил изредка позволять себе...

Здесь я в очередной раз пожалел о том, что существую. Не столько из-за безобидной, но ошибочной проницательности старосты, не столько из-за милого и озорного окружения я хотел тогда исчезнуть и провалиться под подземелье, куда угодно, даже обратно в лимб и неспособность встать с кровати, в этот кокон бессилия и болезненной праздности, нет, мне были приятны эти люди, мы проходили уже месяц с небольшим метаморфозу в голобородькинских «мастеров морей», бок о бок, все за каждого, выручить учебного товарища советом или подсказкой было делом привычным и приличным — однако я по-прежнему ощущал себя выколотой точкой, вакантным местом в облаке электронов, ложным вакуумом, квазиматерией, и эти прекрасные люди стремились лишить меня этих самоописательных метафор, ибо природа пустоты не терпит, а я был на 99,99% из неё соткан. Они и я стояли друзя с дружкой в антиномии, и принципиальным,

первостепенным делом для сохранности было сей статус-кво сохранять, бороться за этот личный 00,01% — однако я повиновался синтезу, этой грандиознейшей диалектической спекуляции, чтобы выяснить, кто из нас изначальный тезис. Проще говоря, мне было любопытно, пусть и боязливо, провести с ними вечерок.

— Да нет, не в таблетках дело. — Проговорил я и смутился. — Денег не особо.

— Что, даже на кружечку пенного у тебя в чехле не найдётся? Хочешь, мы проставимся?

(Ловушка)

— Спасибо, нет. — Теперь я увидел, как он смутился. — Но я всё же пойду с вами, всё равно пальцы устали.

— Гриф настолько тяжёлый? — Поднял бровь староста.

— Дело не в этом, — я стал собирать деньги из чехла, попутно рассказывая о тонкостях бардовского ремесла:

— Песни с баррэ лучше чередовать песнями с обычными аккордами, чтобы не затекали пальцы. Бой в часы пик прибыльнее перебора. Лучше снимать кольца перед игрой, чтобы не задевать струны; на большом пальце правой руки можно оставить — тогда, при постукивании по деке, звук будет ярче. При большом потоке людей выгоднее играть попсу либо что-нибудь виртуозное; твои любимые песни никому не интересны. Выгоднее играть в паре, больше доверия. В не-сезон и холодно, и деньги кидают не так охотно. Лучше держаться на учтивой дистанции с каждым желающим поболтать. Кришнаиты и бомжи-алкоголики — обычное дело. Недовольные твоим якобы «бездельем» трудяги — случаются каждый раз. Перепады температур — миф, на деку гитары они почти не влияют. Дождь тоже. Ни при каких обстоятельствах не давать играть на своей гитаре. Петть нужно громче, чем играть аккомпанемент. Большие купюры, если улыбнётся удача, лучше сразу прятать — могут утащить. Перед началом игры следует бросить в чехол купюру-две, чтобы

не пустовал и привлекал тем самым стесняющихся быть первыми. В конце игры следует попинать стену, как дальнобойщики пинают шины на заправках... — Делился я непрошеной мудростью, пока мы шагали до бара.

Я не преследовал целей типирования, попросту рассказывал о том, что мне известно, мне не хотелось как-либо возвышаться над ними, я уважал их, их внутреннее пространство и галактики, однако себя я уважал слегка больше, и на этом стыке как-то автоматически родилась следующая сводка. Староста — почти типичный гипертим с нотками сенситивности, девушка его — выраженный астеноид (крепкий союз: один носится словно угашенный, другая — принцесса на горошине, друг другу не мешают). Русый парень, любитель The Cranberries — слегка параноид с парой штрихов циклоидности и сенситивности. Занудный паренёк в очках — типичный эпилептоид, с ним следовало быть аккуратнее. И тому подобное. Эти предположения могли корректироваться, но возведя их, прикрыв ярлыком, как картиной изъясн интерьера, грохочущие бездны людских душ и характеров, втиснув их в созвучный моей социофобии нарратив, заочно обезвредив любые пагубные инсинуации в мою сторону, я стал спокойнее и расслабленнее. Вероятно, похожие движения происходят в каждом из нас, *странном* либо нет, ведь, по-моему, общество не может вызывать ничего, кроме тревоги, — ни восхищения, ни ужаса, только тревогу — с которой каждый справляется собственными методами. Ох, а вот и бар.

Это было освещённое с потолка неоновыми полосами место, пухлые красные диванчики, широкие деревянные подоконники, куда можно было смело садиться, барная стойка скруглённым прямоугольником, опоясанная высокими барными стульями, чуть поодаль — пьедестал с барабанной установкой и прочей аппаратурой для восходящих музыкальных групп. Мы ходили с Ней в этот бар как-то летом, пили только Virgin Mary, безалкогольный аналог Bloody Mary, искали эстетику из фильмов, но ничего не нашли, — видимо, изменённое состояние сознания

и эстетика есть явления одной плоти — и вот судьба вновь забросила меня в эти воды.

— Вот это цены! — Хлопнул себя по лбу русский паренёк.

— Ты погоди, тут всё минимум на пять придётся умножить. — Откликнулся староста.

— Почему на пять?

— Зная тебя... — И каждый рассмеялся.

Все были подвыпившими, кроме меня. К нам подошла официантка и, оставив одно меню на всех, упорхнула.

— Ну, рассказывай. — Как бы серьёзно обратился ко мне староста. — Как докатился до жизни такой?

Я снова был под угрозой Столкновения с Реальностью, и, памятуя предшествующий опыт и сравнив его обстоятельства с текущими, не выявив внятных причин для тревоги, решил попробовать пообщаться со старостой на языке его акцентуаций.

— Ох, долгая история. — Начал я, приготовившись к анализу. — Мы с девушкой съехались, но денег у меня не было ну совсем, и пришлось начать зарабатывать. Кстати сказать, отец решил мне больше денег не давать, а ещё он в своей рыболовной фирме...

Я пробовал придать речи естественное течение, некоторую взбудораженность, лёгкую панику, говорил бегло и вкрадчиво и выверял каждое слово. Ядро словес, составляющих каждого, не так уж и велико, и все эти слова (особенно реакция на них) нагружены коллективным смыслом, со своими оттенками для каждого. Семья, деньги и подобные — к ним невозможно быть равнодушным, не кривя при том душой, они вшиты в нас, выцарапаны даже, и то, как человек — даже слушая — пользуется ими, понижение или повышение тона речи, её замедление или ускорение, в общем, отклонение от стерильной нормы в речевых

и поведенческих паттернах даёт ценный материал для анализа. Нужно только...

— Так, — остановил меня староста. — Ты меня заболтать, что ли, пытаешься?

(Попался)

— Ладно, не бойсь, я шучу. Интересная у тебя история...

Здесь я лишился единственного апробированного инструментария того, как вести себя с людьми, и стал ими совершенно обезоружен — одной лишь ответной фразой. Вся эта сцена напоминала воображаемую мной в тот момент — как с овцы слетает шкура волка, её валят на землю и принимаются чесать ей живот. Не было ни одного, ни единого уголка, где я бы мог спрятаться от этого наказания обществом, которое тянуло руки для эндоскопии, для того, чтобы разъять, объяснить, предать забвению...

— А я, в общем, к батьку устроился, в его салон покрышек. Тоже седьмой пот с себя сливаю каждый день. Машину бесплатно получил — какой-то его друг за так отдал, гараж у него, вот только на ремонт ушло больше себестоимости... — Начал вываливать в ответ староста.

Я вслушивался в поток фактов и внимательно наблюдал за ним и собой. Ни один мускул на его лице не дрогнул, как и на моём, его речь лилась намеренно-естественно, с лёгкой ноткой паники, и здесь я нервно рассмеялся. Как знать — вероятно, и моя история, и мои методы вовсе не уникальны, как привычно было полагать, и теперь староста пробовал мягко намекнуть на свой путь, его подобие моему и в целом на наши с ним сходства, пытался вытащить меня из купола — наверняка затем, чтобы я размяк и потерял бдительность. Сенситивы это почти конформоиды, читай, им необходима причастность к обществу, даже

к небольшому из двух человек... Мог ли я ошибаться? Разумеется, но разум остался моим единственным оружием.

— Слушай, у тебя тоже история не из лёгких. — Прервал я его и заметил, как он чуть нахмурился. — Мы как два волка.

— И один из нас — лишь им кажется. — Подмигнул он многозначительно и улыбнулся.

Компания разбилась на небольшие кластеры, и несколько диалогов звучали одновременно за длинным барным столом. Мне отчаянно хотелось выставить себя фриком, выдать, как подпольные, все скользкие участки своего пути, как-нибудь омерзительно преподнести их, оскалиться, испугать и отвести себя от этого общества, казалось, это был единственный, несколько парадоксальный способ защититься — напасть — не позволить кажущимся уюту и комфорту проникнуть в мой милый распад, сжечь его светом ложного спасения и на пепле построить некий культурный идеал, какой-нибудь общественный памятник, на который я бы стал молиться, тщетно пытаюсь возвести его в реальности, попасть за границу асимптот. Нет, эти люди совсем не казались опасными, я признавал, что мне предельно повезло с этим обществом, однако всё, чего мне хотелось в тот момент — любой ценой или сбежать, или обратить их всех в себя.

— Товарищи, давайте представим ситуацию, — вновь поднял палец бездиоптрийный парниша, — вы топаете домой, тёмная ночь... А на вашей остановке из автобуса высаживается группа враждебно настроенных к вам гопников. Ваши действия?

(Моя любимая рубрика — в какой момент ты потеряешь человеческий облик)

— Ретировался бы.

— Попыталась бы отшутиться!

— Резко напал бы на самого хилого.

— Нет-нет, вы не поняли, — сложив пальцы домиком, продолжил бездиоптрийный, — силы вас значительно превосходят,

а деваться некуда. Вас вот-вот избыют! А вы одни... Что делать?

(Буквально ничего)

— Драться, как лев!

— Бежать, как антилопа!

— Позвать на помощь кентов, как вариант.

— Ну, нет такого варианта — кенты далеко и спят. — Отрезал очкастый.

— Я бы перцем всех залил и спокойно ушёл.

— А я попросила бы парня приехать с его парнями и заступиться. — Добавила подошедшая официантка.

— Ну, то есть все сходятся на том, что иногда без насилия — пусть даже ответного — не выжить?

— Кхм, — прокашлялся я и тут же пожалел, но отступить было поздно. — Если бы меня начали задирать, я бы просто... эээ... *посмотрел* каждому в глаза.

Эта реплика побудила всех рассмеяться.

— Какое смотреть? На тебя с кастетами идут!

— А если в дом к тебе вломятся, что, тоже будешь смотреть?

— Или, допустим, бьют не тебя, а твою девушку у тебя на глазах?

Общество загоняло меня в ловушку, даже на уровне абстрактной дискуссии было видно, почему я не силен влиться в него. Дело было не в ребятах, они руководствовались здравым, подкреплённым опытом смыслом, вероятно, они были уже в пьяной кондиции и не замечали деталей так, как замечал их я. В этом баре, за этой стойкой решалась судьба гуманизма в его пари с насилием, и мне — не сказать, что яркому гуманисту, — выпала непрощенная ноша адвоката ненасилия, ноша, которую я не особо стремился брать на себя, но которую некому было принять, ибо даже староста, выпив, лишился человеколюбивой оболочки. Я мог спокойно согласиться с ними, капитулировать и раствориться в социуме, как шипучая таблетка в бездонном океане, солёном ото

всех растворённых в нём, мог взглянуть на каждого этим *взглядом* и триумфально покинуть бар, но это было бы несколько бестактно и лишь подтвердило бы тезис. Этот социальный инженер в очках без диоптрий поставил меня в патовое положение, сложив пальцы домиком, и я не нашёл ничего лучше, чем сказать:

— Ещё я бы лёг на землю и заорал. Как ребёнок.

— Ха! Креативно! — Одобрила идею мини-толпа.

— А если бы спросили, заорал бы громче и крикнул бы что-нибудь о справке с психдиспансера, — подхватил я, — а потом ещё себя бы перцем залил.

— Ну ты дикий! — Присвистнул староста. — Надо быть с тобой аккуратнее.

— Отчаянные минуты требуют нестандартных подходов, — заметил я и тут же выругался про себя за самодовольный тон...

Тезисом остался я.

Х

«А во сне поздно ночью, после Служения, он, кажется, попадает в какое-то море, на ужасную глубину — вода вокруг немая, тёмная и температуры тела»

Дэвид Фостер Уоллес, «Бесконечная шутка»

Ты закрываешь глаза.

Вокруг тебя — молочная пустота, обволакивающая тело мягким шёлком, струящаяся сквозь пальцы атласным песком. Ты находишься в неопределённой точке пространства, окружённый россыпью нежно-голубых звёзд.

Точки звёзд выющейся лентой заслоняет абсолютная чернота, и перед тобой возникает камнеобразная голова гигантской мурены. Это Ананта-Шеша — змей, который видел зарождение Вселенной и который будет взирать на тьму после конца времён. Он услужливо фырчит, ты забираешься ему на шею — и вы отправляетесь в дивное путешествие.

Вы летите сквозь вселенскую пустоту, вокруг разворачивается целое представление. Галактики кружат и вертятся, утопая в звёздах, квазары раскрываются, как цветы, звёзды рождаются и умирают, сопровождая свой приход и уход из бытия колоссальным взрывом. Парочка игривых комет подлетает к вам и, резвясь, стремится в никуда вместе с вами, облетая вашу траекторию по двойной спирали.

Вы пролетаете мимо тёмного газообразного сгустка, и ты велишь змею остановиться. Сгусток тяжелеет, сворачиваясь, как шарик мороженого, и наконец ты спускаешься на твёрдую

гранитную землю. Сгусток, ещё пока не знающий, что он стал планетой, хрипит и дёргается, реки магмы разливаются по гранитным долинам, а новорождённая атмосфера изнывает от пепла. Постепенно гранит сменяется густыми зелёными лесами, сухим золотистым песком, глубокими синими океанами. На планете зарождается жизнь; вскоре после этого один из видов начинает исследовать и приспособлять под себя такой чуждый для него мир. Ты с интересом следишь за его развитием, за возведением и падением цивилизаций — пока глобальный конфликт не стирает с лица планеты всякую жизнь. Ты вздыхаешь и ищешь новую зарождающуюся планету, которая тебя развлечёт, хоть и знаешь — на ней всё будет абсолютно так же.

Повторяющиеся сценарии нагоняют тоску, и ты подзываешь Ананта-Шешу ради новой, грандиозной цели. Ты стремительно несёшься сквозь красоту и величие Вселенной навстречу ярчайшему и прекраснейшему месту в ней — к её Центру. Фрактальная фигура Центра, разбитая на сотни гармоничных оттенков, застилает собой всё ваше поле зрения. Наконец, цвета сливаются в белый, который поглощает собой всё, растворяет в себе формы и значимость. Он становится всё ярче и ярче...

Ты открываешь глаза.

XI

«Жертвуй собой — и не бойся обеднеть!»

Луций Анней Сенека, «Нравственные письма к Луцилию»

Вставать я стал на два с половиной часа раньше — где-то в пять двадцать — в силу того звучащего сейчас факта, что сокурсники позвали меня тогда, в баре, в теннисную секцию — я шутливо согласился, и но теннис стал моим спасением. Контринтуитивно, новое занятие стало четвёртой шестернёй, заглухшее трио стало работающим квартетом, и парадокс инженерии разрешился — в результате я почувал больше сил для маленьких ежедневных свершений.

Вуз располагал собственным кортом, занимались мы перед парами, в «нулевую пару». Пришлось сдвинуть график аскерства на более тёмное, злобное, неохотное время для прохожих, чтобы поспевать туда. Недостаток сна действовал на меня словно кофе — ещё одно контринтуитивное открытие — и я охотно пользовался приливом сил, горланил избранные песни с костровых посиделок, те, которые каждый слышал хотя бы раз, дёргал эти ниточки коллективного бессознательного, и — странно, но — моя харизма наизнанку, моя показная открытость оценивались щедрее даже, чем в обычные часы.

Но я отвлёкся. Теннисный корт был небольшим, на три площадки, крытым, в форме скошенного параллелепипеда, заниматься на нём можно было круглогодично. На корте непременным атрибутом были два тренера-охранника — у одного на чёрной футболке красовалась надпись «Охрана», у другого, полноватого, потешная — «Объект охраны». Я ни разу не видел их в кампусе вне корта, имелось странное ощущение, что они

привязаны к этому месту, как призраки или духи, как некое назидание или предостережение для юных любителей тенниса. И но словом мы с ними не перебросились ни при первом визите, ни при последующих, словно существовали в параллельных, по-евклидовски непересекающихся реальностях.

Числился в моей группе один... персонаж, которого будет проще описать через аналогию: представим здание в центре города, недостроенное здание, его сносят некоторое количество раз из-за какой-нибудь досадной нелепости вроде неточности в кадастровых документах или оскорбления чувств верующих из-за шального граффити пентаграммы на бетонном фасаде, а после строят заново, в том же месте, с тем же планом и той же бригадой рабочих, и так до следующего повода для сноса. Герман был флюгером, рыбой-прилипалой, перекаати-полем по жизни, мореходство было его пятой попыткой получить образование — до этого им пробовались специальности теолога, юриста, литературного работника и агрария; с каждой он после первого курса уходил. Выглядел он как смерть или скорее косплей на смерть: полностью в чёрном, вплоть до аспидных каффов на левом ухе, углеродных колец и ониксовой печати на правой руке, тощий, бледный и высокий, выше меня. Учился он... он не учился, по правде, имелся большой шанс застать частичное солнечное затмение, чем его на занятиях, и сказать, что в группе его не понимали и даже страшились, как трикстера, который пока не принялся за свои чёрные дела, — мало что сказать. И но наиболее старший одnogруппник исправно выходил на корт в нулевую пару, разминался со всеми (ходило нас шестеро) — а после начинались игры.

Тому, кто никогда не играл в теннис, нелегко донести его геометрическую мистерию, сущность этого вида спорта, его секрет и очарование. Для наблюдателя действо бесхитростно — двое при ракетках, стремительно скачущий от одного к другому мяч, ну, и всё на том. Ничего особенного в нём — по меньшей мере, поначалу — не виделось и мне, но исцеляющая сила спорта как бы

предупреждала, предвосхищала мою будущую увлечённость, даже фанатизм, очередной и напрасный, по отношению к новой точке приложения бушующих душевных сил. Пиная ракеткой мяч, я ощущал простую, как лопата, суть атлетики, эту механику повторения, заземление, и дисциплина, которую я хаял и высмеивал едва ли не всю жизнь, понемногу окутывала меня. И но я думал, что «*per aspera, aspera, aspera ad astra*» — сбивающее с толку клише, что звёзд в подлунном мире не достичь, не то что коснуться и освоить, я был пленником асимптот, клеток, связанных внутри, прутья которых звенели и проседали под пробами моего внутреннего зверя их продавить, смять, разорвать и уничтожить. Не было ничего желаннее действия и ничего вреднее расслабления, отдых стал синонимом лимба для меня, и я не нашёл тактики лучше, чем прыгнуть в активность рыбкой, чтобы огонь, который горел снаружи, затмил собой тот, что внутри.

Октябрьским утром бывало прохладно, обычно плюс девять или десять; корт не отапливался. Мы занимались в олимпийках — три красные, две синие и одна Германова, чёрная. Играли в парах, и горе и печаль были тому, кто выходил против Германа: косплейщик смерти играл очень, до испанского стыда плохо, промахивался ракеткой по мячу, падал на ровном месте, спотыкаясь о ногу, — при том оставался бесшумным и ничего не произносил, ни слов, ни междометий, даже не кряхтел, когда поднимался. Для оппонента это было настоящим испытанием терпения, милосердия и снисхождения, характера, ведь объяснять Герману элементарные основы, в силу его репутации, никто не порывался, и приходилось мириться с тем, что партия в теннис, обычно диалоговая, двусторонняя, становится монологом двух лиц. Похожее, по-моему, испытывает каждый человек, который обращается к Богу, — отсутствие ответов, обман ожиданий и целительное отчаяние. И но сам Герман, казалось, вообще не выдавал себя — ни смущением, ни гневом — словно, как и я, привык быть выколотой точкой, чёрной выбоиной на цветистом полотне мира, смирился с этой судьбой, и смирение, христианская добродетель, вынуждало его вновь и вновь подставлять щёки,

подниматься и падать. Он улыбался нам — несколько криво и жутко — каждый раз, когда промахивался или спотыкался, как бы извиняясь за своё существование или насмехаясь над нами, точно не сказать.

Игры проходили отнюдь не беззвучно — с помощью Bluetooth-колонки корт становился альтернативным миром, то энергичным, то по типу мечт меланхолика, в зависимости от того, чья из игроков музыка играет. Староста поклонялся классическому гаражному року, Раммштайну и какому-то дарк-кантри навроде Castanets, мне они — точнее он, сольный проект — при первом прослушивании показался в некотором смысле *lost soul vibe*, *wannabe not-outsider music*, и оттого ассоциации были тоскливыми, пусть многие, включая старосту, со мной бы не согласились, — последний поистине испытывал удовольствие от инфернальных электронных звуков, наложенных на задорный гитарный мотив, от этой пробы закрепиться в музыкальной ноосфере, в которой, как и во всякой ноосфере, ценятся традиции, аккуратное новаторство и клятый мною труд как их синтез, хождение по лезвию, душевный стриптиз исполняющего. Любитель The Cranberries слушал исключительно The Cranberries — здесь комментарии излишни. Ещё имелся паренёк, которого не было тогда в баре, — в час тенниса, кстати говоря, мы состояли целиком из мужской компании — чей вкус в музыке полностью совпадал с моим, и это было чудовищно — The Crystal Method, Architects, Борен и Клуб Горя, Эрик Сати — чудовищно по той причине, что музыка — по-моему — явление предельно интимное, почти божественное откровение, искомый диалог с Творцом, нечто, что выкапывает тебя изнутри, обнажая памятники духовной архитектуры, и я хотел верить, что мои памятники неповторимы, а на предательскую поверку это оказалось вовсе не так, сами основы моей личности были под угрозой развоплощения и деконструкции тем фактом, что я — не исключение, и но, когда играли песни этого паренька, я временно становился музыкальным снобом по отношению к себе же. Герман слушал

какой-то экспериментальный дарк-вейв вроде Старухи Мха и Der Golem, подобное мы единодушно пропускали.

Мне запомнился один тренировочный случай: однажды Герман, ни разу до того не опоздавший, пришёл ближе к концу нулевой пары, я в тот момент сидел на трибуне чуть поодаль от Охраны и Объекта Охраны, попивавших автоматный кофе в прозрачных пластиковых стаканчиках. Я остался без игровой пары на тот момент и ленно дожидался конца тренировки. Из колонки лился Summer Of Haze. Герман возник передо мной, как тень от облака, стремительно и объёмно, прошёл к пустующей площадке и принялся распаковывать свою спортивную сумку, как бы приглашая к игре. Делать было нечего, и я, зевнув, взял ракетку и мяч с соседнего сидения на трибуне, спустился к площадке и занял позицию, приготовился к ленивой, как всегда, подаче, подал... Герман отбил как по учебнику высоченной свечой, мяч почти коснулся прожекторов на потолке и намеревался упасть точно у сетки с моей стороны. Я помчался от краевой линии к сетке, кое-как ударив от груди, — здесь Герман провёл идеальный резаный ответ, мяч полетел по кручёной касательной к углу площадки, вновь вынудив меня побежать. С непривычки, удивления и резкости происходящего моё сердце вырывалось из грудной клетки, давление скакало, глаза мутило. Герман в своей чёрной олимпийке гонял меня филигранными отбитиями по всей половине корта, казалось, что в него вселился Роджер Федерер, чересчур сюрреалистично это всё было — и но я впервые пропустил от него мяч, после несколько, а затем подпрыгнул как-то неудачно в развороте и упал на резиновую крошку площадки.

Остальные заворуженно молчали, бросив ракетки, и дивились Германовой трансформации — и но он вообще, казалось, не вспотел и был как обычно безмолвен. Один за другим, ребята занимали моё место и терпели сокрушительное поражение от, как вполне рационально полагалось, полного лузера, видимо, притворявшегося до сих пор, заряжавшего эту пружину, чтобы наконец ею выстрелить, ошарашить и подвергнуть сомнению наше

коллективное понимание реальности. Когда староста, лучший из нас, споткнулся о собственную ногу, пытаясь дотянуться до летящего железным ядром мяча намного выше головы, Герман улыбнулся — жутко и криво — спрятал ракетку в сумку и, насвистывая свою любимую Старуху Мха, неспешно удалился.

Больше я никогда его не видел.

XII

«Взамен всего этого было нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд и толпа мальчиков, еще более страшных, чем те, которые недавно, в июльский день, на мосту, окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдёрнуты резиновые наконечники»

Владимир Набоков, «Защита Лужина»

После того случая наши теннисные устремления как-то заглохли — мы были обескуражены, сражены, убиты, метафорически выражаясь, ни у кого из нас не возникло даже злостного желания тренироваться до такой степени, чтобы обыграть Германа, да и тот пропал и больше не появлялся. Этот эпизод эргономично дал понять, кто здесь местный Новак Джокович, и на последовавших немногочисленных тренировках ракетки сами валялись из рук, подавали и отбивали мы всё ленивее, партии становились всё преснее — дошло до того, что на последней мы вовсе не тронули экипировку и молчаливо пили кофе из прозрачных пластиковых стаканчиков вместе с Охраной и Объектом Охраны. Уныние и стагнация, утрата веры стали эпитафией нашей теннисной карьеры — вероятно, если бы не поступок Германа, тот же староста выступил бы за сборную академии разок-другой.

Решение было вскоре найдено: шахматный клуб. Стоит предостеречь, что нижеследующие дифирамбы шахматам будут намеренно подобны клубам тумана; если ранее могло показаться, что заглавная цель всех этих абзацев — заморочить голову, то теперь, в силу моей взаимной к шахматам любви, моей летучей

и распавшейся, как комета, к ним страсти, моего едва не свершившегося потом помешательства так казаться не будет, так будет в самом деле. Впрочем, терпеть придётся недолго — клуб в моей жизни присутствовал чуть менее месяца.

До клуба я с этим видом спорта-игры-искусства знаком не был, братово упущение — и потому, когда любитель The Cranberries (к слову, его звали Илия, как пророка) предложил альтернативу почившему теннису, мной это было воспринято как очередная угроза хлипкому, как спичка, душевному балансу: казалось, умственное напряжение и соревнование — вещи несовместимые, всякий ум имеет право быть, если он находится в пределах трёх сигм по Гауссу. Борьба же отменяет, отнимает это право, в случае выигрыша утверждая то, что и так очевидно, — ум существует; в случае проигрыша же остаётся лишь смириться, сдаться и больше никогда не размышлять. Однако остальные идею поддержали, и, дабы меня не сожрали начинавшая надоедать учёба, лимб и быт с Ней, я капитулировал и присоединился к своим учебным полудрузьям.

Мы заняли маленькую семинарскую аудиторию: стены в пастельных розовых тонах, тикающие часы над доской, несколько парт из ДСП, третий этаж в самом конце коридора. Утром и днём здесь проводились пары по какому-то недостойному упоминания предмету, но в пять часов вечера, четырежды в неделю (исключая среду и выходные) помещение наполнялось принципиально другим содержанием, приобретало иную суть, возносилось либо опускалось — точно не определить, что важнее: наш интеллектуальный досуг или каждодневная рутина, что из этого больше оправдывает существование этой рядовой, невзрачной комнатухи. С одной стороны, она была предназначена для второго — быть местом временного и периодического заключения во имя науки, с другой — мы с ребятами в рамках собраний клуба творили настоящее, пусть и напрасное, искусство.

Искусство или наука — ну-ка, что лучше?

Я вновь отвлёкся. Моя первая партия завершилась хрестоматийным «дурацким», даже не «детским», матом, матом в два хода, который удаётся крайне редко и только при условии, что оппонент сходит максимально неудачно; мне показалось замечательной идеей отступить от стандартных е-два-е-четыре и начать выстраивать какую-то гротескную фигуру из пешек, но мои наполеоновские по незнанию планы были быстро оборваны ухмылкой Илии, моего первого оппонента, и последующим бесславным матом. Тогда показалось, что жизнь окончена, и от данного позора мне никогда не отмыться, но бодрствующая во мне *витальность* отмела прочь упаднический настрой, и я натурально разозлился. Мы играли на выбывание, мне предстояло наблюдать за партиями прочих до конца, усмиряя кипящую, словно плазма, злобу, дабы не подавать виду, что задет, сохранять спортивное поведение. На первом занятии мы условились создать Кодекс, который дополнялся и переписывался в течение всего последующего месяца, ниже по памяти привожу его первоначальную версию:

- Уважение к оппоненту — превыше остального.
- Цель почти никогда не оправдывает средства (если ты не Михаил Таль — а ты не Михаил Таль).
- Мастерство — сумма потраченных часов, умноженная на остаток потраченных нервов.
- Следуй стилю — он обязательно приведёт тебя к мату.
- Проигрыши естественны, вопрос в том, на каком ты остановишься.
- Не останавливайся.

...также имелась пара технических ремарок о том, можно ли ходить не той же фигурой, которой коснулся, о том, как правильно совершать рокировку и маленькая памятка о том, как справляться с эмоциями:

«Относись к неудачам как к урокам, не как к наказанию. Извлекай из уроков максимум. Разум — тонкая корочка хлеба над раскалённым хаосом чувств — и наше единственное орудие.

Точить и настраивать его можно и следует бесконечно. Однажды произойдёт самый заветный выстрел, пик карьеры — будь к тому моменту готов. Ни в коем случае не останавливайся — у этого Олимпа нет вершины. Если требуется — отдохни. Береги себя, но не жалея себя»

Я перечитывал вновь и вновь этот листок в клеточку, писанный печатным почерком девушки старосты (теперь с нами были и представительницы второго пола), сетуя и удивляясь тому, что моя карьера началась с наиболее глупого проигрыша из возможных. Хотелось плюнуть на всё, на концепты упорства, старания и далее по списку, но это прервало бы мою социализацию, а в любом обществе, по-моему, необходимо непрестанно напрягаться и трудиться, чтобы оставаться ему принадлежащим, дашь слабину, и снежный ком покатится... Эта поверхностная мысль держала меня на плаву, ведь и я пользовался, пока оно пользовало меня, обществом в своих экзистенциальных целях — хотел испытать себя на прочность — и мы были с ним в расчёте.

— Сицилианская защита! — Молвил староста, двинув соответствующую чёрную пешку к своей девушке.

Я пока не имел понятия, что это одно из популярнейших начал, звучало так, словно он уже просчитал движение игры ходов на двадцать вперёд, словно староста — сумрачный гений, видевший будущее на расстоянии часа. В свой дебютный шахматный день я ни толики не смыслил в позициях, потому принял решение с умным лицом нависнуть над доской, на которой происходил финал сегодняшнего турнира, и выяснялось главенство мужского над женским либо наоборот. Девушка старосты обменяла слонов на своих коней («преимущество двух слонов», сказал парень без диоптрий, Константин его звали, «в полуоткрытом варианте от него нет толка», возразил Илия). Происходило нечто хитроумное, какой-то, наверное, этюд, для меня его магия пока не была ясна, всё это мне казалось

полулогичным нагромождением фигур, пусть и ходящих по правилам, игровым аналогом шизофазии. Короче говоря, меж фигур не мелькала искра, не было эмергентности в их танце. Тем не менее, умное лицо я сохранял, почёсывая подбородок и оглядывая присутствующих. Илия носил русые дреды, как Иона Ларион из Вархаммера 40000, — по сюжету одной из франшиз он стал еретиком и отрёкся от Империиума. Мне мерещилось — после явления Германа — что Илия как-нибудь нас или хотя бы меня однажды подставит. Константин стоял рядышком, мимикрируя не менее умным лицом и также почёсывая полоску бородки, он был лыс, в очках без диоптрий и малость тучен, антипод мне, рыжему, безбородому и худощавому. Мой musical mate был чем-то похож на рыбу. В чертах нашей внешности уже проглядывался грядущий игровой стиль — к примеру, Константин станет сторонником позиционной, изматывающей осады, Илия полюбит обострения путём рискованных жертв, девушка старосты будет пытаться воскресить романтические шахматы, а сам староста конечной целью своей заложит повторение мата Легалей, хотя бы разок. Имелось и несколько других посещавших клуб товарищей по факультету, близких случайных попутчиков, но основной костяк, прошедший от и до, был таков.

Партия подошла к эндпшилю: у старосты была лишняя пешка, но был также ферзь против двух ладей (Илия потешно называл их «церквями», далее я буду использовать именно это название), при аккуратной игре ферзь пасовал перед ними, и девушка его была неумолима, королева старосты беспомощно скакала по доске, пробуя избежать тиски двух церквей, которые, параллельно гонениям, готовили ловушку для короля. Но вот произошло долгожданное — последняя оставшаяся пешка на аш-два шагнула, и староста торжествующе заменил её на вторую королеву, следующим ходом потеряв изначальную, попавшую наконец в ловушку церквей, и вроде как ничего не изменилось, но темп девушки был упущен, и у старосты образовался целый ход, чтобы выдумать что-нибудь этакое. Шёл девятый час вечера, мы были физически уставшими, но души преображались

и облагораживались: полуторатысячелетняя история, призраки и имена великих склонились над доской вместе с нами, и каждый, материальный либо нет, ожидал, чем окончится противостояние.

Получился пат: староста героически одолел церкви и даже остался при королеве, но король его девушки удачно примостился к краю доски, окружённый оставшимися фигурами, так, что не походить, и они пожали руки, староста поцеловал её пальцы, и мы вздохнули с лёгкостью. Первая встреча клуба заняла ровно четыре часа.

Я вернулся домой в некотором возбуждении, едва не повалил на пол бельевую сушку и, минуя приготовленный Ей ужин, уставился в монитор ноутбука, принялся остервенело искать сведения о всех возможных дебютах, миттельшпилях, окончаниях, ловушках, именитых шахматистах, классических этюдах, истории шахмат, турнирах, рекордах и регалиях.

— Ты себе новую игрушку нашёл? — Вздохнёт Она, улыбаясь.

Я сразу наметил себе небесный потолок — Веселин Топалов, побеждённый Вишванатаном «Виши» Анандом в апреле, примерно в те дни, когда пропал брат, а я, зная не зная про шахматы, знакомился с гранями Пустоты, что внутри. В период моей первой внутренней эмиграции шахматный мир бурлил событиями, жил и процветал, существовал параллельно мне, это был пропущенный отрезок истории, и мне хотелось нагнать все 1500 лет, от зарождения до настоящего, проглотить это небо вместе с каждым несущим его Атлантом, освоить это мастерство.

— Можешь распечатать кое-что? — Попросил я Ёё.

Не теряя лукавой ухмылки, Она принялась настраивать принтер. Веселин выполз из него, плоский кумир — на следующий день, в среду, я зашёл в хозяйственный за фоторамкой и после повесил его над кроватью.

С того дня Она составляла мне компанию в шахматных променадах. Играла Она недурно и, кстати сказать, одолеть Её в честной схватке мне так и не удалось — любые импульсивные нападки с моей стороны встречались флегматичным, взвешенным сопротивлением, а Её натиск был непреклонен, как поезд, и душил меня, словно гаррота, как бы я ни оборонялся. Я сохранил до конца обыкновение не думать над ходами дольше минуты, Ей же требовалось минимум на порядок больше времени, и — как знать — вероятно, это было намеренной частью Её стратегии: вымотать ожиданием, чтобы, наконец, сделать сокрушительный ход. Впрочем, сыграть нам доводилось нечасто — моё мужское эго лопалось от каждого поражения или обидной ничьи, а Ей процесс не доставлял того же наслаждения; прозвучало так, как задумывалось, шахматы есть взаимные трения умов над доской, и если заменить «доску» на «телеса», а «умы» на «гениталии», суть останется нетронутой. По-моему, всякое трение способно стать искусством, если в нём участвует (даже как зритель) больше одного человека, — неспроста весь спорт или групповой, или парный — и социализировался я разве что затем, чтобы сотворить однажды что-нибудь весомое, что способно тронуть не одного лишь меня, вдоволь изучив запросы и вкусы человечества социальным миссионерством, дотронувшись до блуждающего нерва общественных предпочтений. Нет, это не были *хождения* в их первом смысле, теперь я не защищался и не тревожился чуть что, ибо осознал, что никто, никакой недоброжелатель или скупающий садист, не отнимет мой дух, стержень; во мне бушевали альфа и омега, вечное сияние чистого разума, экспрессия и свет. Я мог улыбаться тяготам, дарить кусочки бесконечности, что во мне плескалась, — не требуя, не ожидая, не вымаливая ответа и предпочтений от людей, мира, Бога и Бог весть кого ещё. Как мог бы сказать Жан Жене: among beauty I stand, sorrowful and resentless... точнее: parmi la beauté je me tiens, attristé et sans ressentiment, он был француз.

Вернёмся к шахматам. Мой музыкальный двойник, как оказалось, имел увлечение, симметричное моей музыке, — писательство. В четверг он принёс на собрание листочек с текстом и, хоть это было ни к селу, ни к городу, зачитал. Далее последовало жаркое, пусть и краткое, обсуждение, в конце которого я попросил этот листочек. Двойник — его звали Марк — чуть смутился, но всё-таки отдал, и я до сих пор ношу листочек при себе, в водонепроницаемой папке, как память об университете и шахматном клубе в частности. Вот сам текст:

///Трой Витальевич был фигурист: поджар, сух, даже (мы бы сказали) высушен, он напоминал серебристого тунца, полосы которого Трой частенько жевал на педсовете.

— Главное, мои дорогие, это погода в доме! — Восклицал он посреди собрания, причмокивая. Аспирантки наливались краской, стар. препы хихикали, профессора еле заметно закатывали глаза. Но каждый присутствующий смутно ощущал, как негатив и претензии рассеиваются, словно ушедши в незримый громоотвод.

На кафедре его не то чтобы терпели, скорее принимали как должное — доцент, почётный гражданин... «Попробуй-ка дожить до седин без шариков за роликами» — скажет Любаня, учебный секретарь, с чем мы поспешим согласиться.

Студенты Троя Витальевича любили и жаловали — особенно те, кто посещал шахматный клуб... И здесь мы вынуждены завязать с экспозицией и перейти к завязке.

Хотя, что это мы — будто в серьёзной литературе, ей-богу. Завязывать нечего: собрания клуба на шестой паре, трижды в неделю — всё прозаично. Совсем как в жизни!

Интересный факт: никто не знает, как Троя Витальевича по фамилии — во всех документах и ведомостях значился гордый

прочерк. Мы склонны связывать сие с его буйным прошлым и связями с КГБ — но позволим себе пока не забегать вперёд.

Неинтересный факт: Трой Витальевич несчастен. На первый взгляд, причин на то у бодрого старичка быть не должно — знай себе ешь тунца, заигрывай с Любаней да студентам вилки конями ставь, но если копнуть глубже...

Трой Витальевич уж тридцать лет как влюблён — и влюблён безответно. Коротенький служебный (или, точнее, чемпионский) роман с шахматной вундеркиндкой Элен N. остался в его душе печатью, печатью поэзии, коей не сыскать в сытом и прозаическом мире.

Забегая назад, скажем: Элен стала ходом конём для Троя — роковым и неожиданным.

И что бы вы думали? Вот уже тридцать лет Трой Витальевич иногда заявляет Элен о себе. Делает он это до безвкусицы киношно: раз в месяц (два, три), ненастный дождливый вечер, телефонная будка и неуместные (порою пьяные) откровения.

Он вспоминает ту партию, что их свела (английское начало), КГБ, тур «Лион-Марсель-Париж»...

— Мне нечего тебе сказать, Трой, — прозвучит голос ангела перед фатальными (и, к сожалению, привычными) гудками.

И Трой Витальевич вернётся к тунцу, кафедре, Любане, лекциям и семинарам, клубу и прозе жизни, вновь отвергнутый высшей реальностью.

По-прежнему гордый и, как прежде, несчастный. Нам остаётся лишь посочувствовать старику и пожелать ему короткого века.

— А нам? Кто нам посочувствует? Кто услышит неслышных графоманов? Ясно как день божий, что это не Трою плохо, это мне плохо. Я прячусь за его спиной, чтоб никто не заподозрил, не прознал: я уже полгода не писал стихов, мне некому их писать. Я сочиняю жизнь и читаю её по диагонали — мои проблемы белые, как люди, на душе черно, как ночью, проза моя — плевок в торт, размазанный ладошкой. Если юность это сон, то я вряд ли снова усну; я забыл, каково это — видеть сны. Лучшее, что я могу — заработать на билет и улететь самолётом, подальше от дома и погоды в нём.

— Мне нечего тебе сказать, — скажет мне Трой Витальевич.

И будет, пожалуй, прав.///

— И что же я должна почувствовать? — После небольшой паузы произнесла девушка старосты.

— Кхм, ну... — Марк сразу как-то замялся.

— Да, концовка какая-то, как будто, знаешь... — Добавил староста, — будто всё, что до этого писалось — это пустышка, и ты просто сам хотел выразиться. Вот так.

Я в обсуждении не участвовал, в силу вьетнамских флешбеков со школьных литературных собраний.

— Ну, как бы... — Марк почесал макушку. — Это должна быть невзаимная любовь к читателю, мол, как Элен отвергает Троя, так и читатель меня...

— Пока что выглядит как жалость к себе, не как любовь.

— Слушай, ну чувствуется влияние позднего серебряного века. — Присоединился Константин. — Я считаю, что написано очень хорошо.

— Да нифига! — Возразил Илия. — Он был «фигурист» — спортсмен, что ли — а после этого «поджар и сух». Разве это синонимы?

— Как же ты не шаришь за стиль... Почитай Олешу, у него так же.

— А вот это, например, — «гордый прочерк». С фигу ли «гордый»? Почему не «скромный»?

— Это типичный приём из Андрея Белого. — Осклабился Константин. — Не позорься, как по мне, текст отличный.

— А скобки, скобки? — Не сдавался Илия, — мне кажется, это снобство.

— Ну, сделай злую руку.

— Может, приступим к шахматам? — Подал голос кто-то безликий.

Так спонтанный литературный клуб завершился. Я вооружился изученными за два дня дебютами — венгерский, Данста, защита Каро-Канн, гамбит Теннисона — и был без задней мысли уверен, что эти обскуры, нестандартные заходы смутят оппонента и дадут мне решающее преимущество. Моим первым оппонентом сегодня был Константин, но, вообще, турнирная сетка выглядела по возрастанию умения играть следующим образом:

Безликий паренёк-1

Я

Марк

Безликий паренёк-2

Илия

Безликая девушка

Константин

Староста (девушка старосты)

Начали с защиты Святого Георгия, мне выпали чёрные. Этот дебют — как зенит романтических шахмат — был призван сбить с толку соигрока поначалу наивной, чем-то идиотской сдачей центра и очевидной потерей темпа, позволить противнику расслабиться и наделать неточностей, чтобы после перехватить инициативу. Первая такая партия в истории завершилась победой новатора, и я намеревался повторить его успех.

— Дядь, ты уверен... — Смутился Константин.

Это было нетипичное начало, для успешного продолжения требовались опыт, развитое шахматное зрение, понимание своей стратегии и намерений оппонента. Всё это у меня, конечно, отсутствовало; я был так самоуверен, что отдал коня за центральную пешку, назвав этот зевок про себя гамбитом. Константин выстраивал какую-то пешечную цепь, попрятав за её форпостом остальные фигуры — всё было надёжно защищено. Играли мы, кстати сказать, на деньги, символическую сумму, которую не жалко, клали под доску, которую приносил староста, — жёлто-чёрная советская доска с резным замочком.

— Шах! — Двинул я радостно оставшегося коня, пробив ходом ранее пешечное оцепление.

Этот ход оказался грубейшей ошибкой, потому как королева Константина (далее, для простоты, я буду называть его Конст) как раз намеревалась пробить брешь в том месте, которое я только что открыл, съев пешку. В следующую тройку ходов они в паре с конём Конста устроили хитроумную ловушку моей церкви.

— Вилка. — Провозгласил Конст. — Легчайше попался.

И в самом деле: конь приземлился ровно посередине между моим королём и беспомощной церковью, и я мог бы съесть его королевой, но конь был под защитой королевы Конста, и не оставалось ничего, кроме как позорно походить вбок королём и лишиться церкви следующим ходом.

— Ну ничего, потеря в качестве ещё не значит поражение. Ша в эндшпиле догонишь, — попытался подбодрить меня староста.

В эндшпиле я, разумеется, никого не догнал: оставшись с голым королём против двух слонов и трёх пешек, я триумфально забрал одну пешку, но был загнан в угол... Все они были съедены.

Последний ход поставил жирную точку в этой партии. Конст переместил слона на клетку — всё было кончено.

— Ты был неплох. — Улыбнулся Конст, протянув мне руку.

Я вяло пожал её, был ещё поражен, анализировал свои промахи и зевки, которые привели к, пусть и не тотальному, но разгрому. Освободив стул для старосты, теперь я наблюдал за новой игрой — против Марка, который стартовал с английского начала... Марку, на мой взгляд, не хватало смелости в стиле, у него определённо имелись способности к шахматам, но было видно, как он из робости пропускает какие-нибудь рискованные ходы, даже я их видел, но он предпочитал, что называется, *to play safe*, не барагозить и не новаторствовать. Честно говоря, это прослеживалось и в его тексте, прочитанном в начале собрания, — он выглядел защитным, таким, словно переписывался двадцать шесть раз под надзором столько же раз менявшего личину внутреннего критика. Марк будто бы, как и я, опасался мнений: как мне было некомфортно с людьми, так и его тексту было некомфортно от читателей. Это чувствовалось и будто бы заочно настраивало против.

Староста решил ответить пешке на цэ-три симметрично, и это развилось в вариант двойного фианкеттирования обоих игроков — действия, при котором слон становится машиной для уничтожения, сквозной пушкой наподобие церкви, этаким «смотрящим» за центром, под надёжным прикрытием пешек. Такой вариант заметно обострил ситуацию, но силы оставались равными — ровно до тех пор, пока Марк, спустя пять ходов, не совершил рокировку в короткую, а не длинную, сторону. Всем было очевидно, что это неудачное решение — ведь борьба, критическая масса фигур собралась около королевского фланга, к которому король Марка очень некстати шмыгнул. И действительно, староста не упустил возможность вскрыть его, пожертвовав слоном, — и это был ход точно по темпу, так как далее брешь на конце доски оказалась под прицелом сразу трёх фигур

старосты: королевы, церкви и предательского коня. Вообще, на моей памяти именно кони наводили, так скажем, главную суету — они единственные были способны на фантастическую «мельницу» (расширенный вариант «вилки», когда под прицелом, помимо короля, оказывается сразу несколько фигур) — и в этой партии королевский конь был основным бельмом на глазу Марка. Вот и теперь он присматривал за ключевыми полями, не позволял Марку нивелировать напряжение, тот заметно нервничал, взялся было за своего короля...

— Взялся — ходи. — Промолвил безликий паренёк-2.

— Да ладно, пусть, — отмахнулся староста.

— Надо уточнить в правилах... Можно не ходить? — Рассеянно сказала девушка старосты, отходя за соответствующим листком.

— Давайте решим, что можно. Интересно же, — бросил Илия, который с азартом следил за игрой.

Но, признаться, даже Капабланка не смог бы вылавировать из сложившейся ситуации. Через три хода вялого сопротивления, королева старосты стремительно обрушилась на бедного Маркова короля, прикрываемая конём, и партия закончилась победой старосты.

— Это было долго, — похвалил оппонента староста.

— Зря я рокировку сделал... — Сокрушался Марк.

— Пункт пятый, — улыбнулась девушка старосты, вернувшись с листком.

На сей раз играли она и Конст. Начали скучнейше — дебютом четырёх коней, который вылился в классическую итальянскую партию. Я прикрывал вымуштрованным за два дня знанием номенклатуры свою неопытность, на самом деле, я по-прежнему мало смыслил в происходящем и делал исключительно так, как чувствовал, — но благодаря потраченным на исследование мира шахмат суммарно за два дня двенадцати часам теперь я мог уловить, хоть и не мог понять, межфигурную искру, некую

ладность, поэзию даже, и мне представлялось облако реальной баталии, нависающее над доской во время партий. Конст был озадачен. Девушка старосты отставала на пешку, но лидировала по темпу, все её фигуры уже были развиты, в отличие от фигур Конста — второй его слон по-прежнему томился на цэ-один. Конст по неведомой мне причине всегда, когда бывал за белых, начинал с едва-е-четыре, говорил:

— Если бы Ад и Рай договорились сыграть в шахматы, первым ходом Ада был бы именно этот.

Мне это казалось типично-эпилептоидной чертой — держаться только проверенных методов. Потому, как было у старосты с матом Легаля, я поставил себе среднесрочную задачу: одолеть Конста в честной схватке каким-нибудь дурацким дебютом вроде защиты Тартаковера (некорректна) или даже дебюта краба, в котором краевые пешки первые четыре хода движутся вперёд, как клешни краба, напрочь игнорируя ходы оппонента. Вот и девушка старосты, когда все дебютные формальности уже были разыграны, решила, кажется, пойти по пути «вечнозелёной» партии — в которой выигравший потерял практически весь тяжёлый арсенал фигур и поставил мат двумя лёгкими калекми — другого объяснения её действиям у меня не было. Конст, впрочем, уловил её намерение и ушёл в оборону ещё более основательную, ходил крайне осторожно, чтобы не допустить призыв духа шахматного романтизма в триста третьем кабинете. Оппоненты размышляли над ходами, позволяя и прочим присутствующим наметить собственные гипотезы. Вообще, почти каждый ход активно комментировали, примерно так:

— Похоже, Конст решил растянуть миттельшпиль... — Почесал я висок.

— Да не, сейчас замес начнётся. Рокировки-то длинные, — отозвался староста.

— Почему ферзь не ест слона? — Задумчиво проговорил безликий паренёк-1.

— Там ловушка стоит. Пространства мало, пешками зажмут, — заметил Илия.

Миттельшпиль подходил к концу, готовясь перетечь в эндшпиль: вот-вот пешка на дэ-пять, которая была в центре внимания обоих игроков, ушла бы за пределы доски — в данный момент на неё нападало три и защищало четыре фигуры. Конст понемногу готовил монструозную конструкцию под названием «батарея Алёхина» — две церкви и королева на одной линии — уничтожающее всё живое, но предельно громоздкое сочетание. Девушка старосты то и дело расстраивала этот план колкими ходами, требующими сиюминутного ответа, и вот стремительный размен проглотил арсенал обеих сторон — пешка-пешка-конь-слон-слон-ферзь-конь-ферзь-пешка — и партия подошла к финальной фазе, отменив батарейный сценарий Конста. Далее последовала затяжная позиционная игра, оба игрока не допускали неточностей, пешки таяли в равноценных обменах, пока их вовсе не осталось, осталась церковь против церкви. И тут Конст сдался от перенапряжения, сходил в противоположную от нужной стороны, зевнул, как лев, — и получил линейный мат в четыре хода.

— Можем переиграть, если хочешь, — кротко произнесла девушка.

— Ты и так переиграла и уничтожила. Воздержусь, — откликнулся Конст. Мне показалось, что он был чем-то задет — он нахмурился и малость покраснел.

— Где ты научилась так играть? — Спросил Марк.

— Ой, да с дедушкой всё детство играла, он КМС, — скромно отозвалась девушка. — Ещё потом с чужими дедушками в парке на домашнее вино играли.

— Кстати о вине, — вклинился Илия, — может, в бар сегодня?

Идею почти единодушно поддержали — кроме Марка и меня — и, когда я высказался против, безликий парень-2 выступил ко мне с предложением:

— Давай сыграем и поспорим. Если выиграешь ты, то можешь забрать весь банк...

— Отказ, — подал было голос Конст, но безликий-2 продолжил:
— ...а если я, то ты наконец-то выпьешь с нами. Я готов проставиться даже. Идёт?

Подумав и прикинув риски, я согласился. Староста протянул кулаки с пешками разных цветов в них, я наугад выбрал правый — там покоилась белая — это значило, что ходить мне первым.

Я выбрал один из обскурных дебютов — атаку Брента-Ларсена — она была чем-то похожа на защиту Святого Георгия по замыслу: уступить центр взамен раннему фианкеттированию слона со стороны королевы с дальнейшей оккупацией королевского фланга противника. Уже пожалев, что замахнулся на теорию, понимания которого у меня пока быть не могло — для этого необходимы продолжительный труд, инвестиции временем и усилиями, некоторая необратимая деформация сознания — я надеялся сгладить своё дилетантство пассионарностью, думал, что законы логики подчинятся, и мне не придётся пить, нарушая собственное табу. Тем не менее, довольно скоро безликий парень-2 натурально меня уничтожил — у атаки Ларсена имелась уязвимость, из-за которой некоторые шахматные литераторы считали её некорректной, почти как дебют Гроба, — если противник не романтический дуралей и не отвечает польским или симметричным вариантом, инициатива, как правило, переходит к нему — по итогу фианкеттированный слон блокируется пешечной цепью или попросту висит в воздухе без значимого эффекта — последнее и случилось со мной, у меня как бы была фигура, но как бы её и не было, я фатально потерял темп, и виной тому был мой самонадеянный апломб, моя преждевременная заявка в мастера. Короче говоря, спустя два десятка ходов трепыханий мне поставили заслуженный мат.

— Ты достойно держался, — наконец, сказал безликий-2 и протянул руку для рукопожатия. — Играл до клуба?

— Мх-х... — Я сокрушался про себя и соврал, что да, играл.

— Ты как будто стремишься нарушить правила, не нарушая формальности, — задумчиво проговорил староста.

— Очевидно, Моряк пробует затроллить жертвами, как Михаил Таль, — постановил Конст.

— Второй пункт, — улыбнулась девушка старосты и рассмеялась.

— Ну что, теперь в бар? — Илие уже не терпелось...

...в бар я шагал как на эшафот. Назывался он «V.» — не самое престижное, но приличное лофтовое заведение, чем-то напоминало лондонский паб: здесь собиралась псевдобогема нашего города, те самые люди, которых можно встретить поодиночке или малыми стайками в любом обществе — этикие wannabe stylish аматоры авторского кино, эстетичных кадров, нишевой заграничной музыки и красного, непременно красного вина. Здесь таких был полный бар, большинству было давно за тридцать, и, когда мы ватагой ввалились через стеклянные двери, через две позолоченные буквы «V» на дверях, волна брезгливо поднятых верхних губ прошла по завсегдатаям этого жеманного местечка.

Из колонок в углах помещения играл блюз — не моего толка, блюз уровня Гэри Коулмэна или Эдди «Столбняка» Дэвиса, общепризнанная и заслуженная музация — и, хоть с каждой минутой, проведённой здесь, моё нервное напряжение вдвое возрастало, мастера блюза хотя бы искусно его сопровождали, всё же, помирать отраднее с хорошей музыкой...

— Что мы будем? Пиво, может, настойки? — Обратился к нам староста.

— Или сразу абсент, — хищно подмигнул, почему-то мне, Илие.

— Я бы взял себе белое бургундское, — задумчиво проговорил Конст.

— Да, я тоже за вино, — добавила девушка старосты.

— А ты, ты что будешь? — обратился ко мне безликий-2.

И все уставились на меня, будто ждали, что я каким-то немислимым образом выберусь из расставленной ловушки. Безликий-2 был похож на гибрид ворона и голубя — брюнет в сером тренче — он представлялся, причём не раз, но имени я так и не запомнил. Чуть поодаль, посмеиваясь, нас оглядывала группка миловидных дамочек в возрасте, как-то, как показалось, оценивая, присматривая себе наивного студента на вечерок; за соседним столиком двое на вид интеллигентов — пиджачки, снобские бородки, у одного из внешнего кармана свисала цепь золотых часов — они дискутировали о различиях литературы и философии:

— Коллега, как по-вашему, отличен ли онтологически философский концепт от литературного? Ведь и то, и то — изобретение, новаторство.

— Не соглашусь, коллега. Полагаю, вы не принимаете во внимание сверхцели данных областей. Тогда как философия — всё равно что метод, литература, по-моему, это прежде всего высказывание...

Всё это походило на какой-то фарс, сон в лихорадке.

Подошла официантка, собрала заказы (староста взял себе шоколадный стаут, Илия — смородиновую настойку, Конст — белое бургундское, как и хотел, девушка старосты продублировала, а я, сам себе не веря, заказал, как заправский алкоголик, трёхслойный шот В-52) — записав, она сняла шляпу, их носили все сотрудники «V.», и протянула её для наличных; такой вот выпендрёжный способ оплаты на месте. Безликий-2 (теперь, раз уж его внешность известна, я буду звать его Вору́бь), как и обещал, оплатил моё падение. Вскоре официантка принесла на кончиках пальцев левой руки поднос с алкоголем, свой на каждого, подожгла по канону мой В-52, не спросив, и, будто порхая, удалилась.

Дамочки в возрасте метали недвусмысленные взгляды на Вору́бья и старосту, и если последний мог защититься объятием

с девушкой, Ворубь был безоружен — но, казалось, он и не был против завязки дальнейших событий. Конст задумчиво вертел меж большого и указательного бокал с бежевой, в мелких пузырьках, жидкостью, девушка старосты временно зависла и смотрела в одну точку. Затем Илия изрёк:

— Давайте за... раз уж мы всё же собрались, за интересные совпадения. Хорошие и не очень, — и поднял свою рюмку смородиновой настойки.

Ему вторил хор правых рук с бокалами, рюмками и стаканами в них, чуть замешкавшись, присоединился и я. Чокнулись.

...и да, я выпил. Выпил не только подождённый В-52, жадно и залпом, морщась и чуть не плача от крепости, но впоследствии ещё и штук шесть шотов; shot от английского довольно точно передаёт моё состояние в этот вероломный, преступный момент — мне словно выстрелили счастьем из дробовика в рот семь раз, хвостатое ядро и миндалевидные тела в мозгу, как забракованные, продуцировали годовалую норму дофамина, ангелы плакали на небесах, причитая «Илия...», а я, выходит, соврал ранее, когда ещё при первой встрече с одноклассниками заявил, что больше никогда с ними не пил, где ещё я мог sluкавить или *приукрасить*, раз уж я, как оказалось, лжец; короче говоря, крышу мне снесло напрочь, я перестал отличать внешнее от внутреннего, и ребята, интеллектуалы, миловидные дамочки, сам бар целиком и причитающие ангелы над ним стали казаться моими солипсистическими проекциями, сгустками зелёных символов, как в Матрице, и здесь мне показалось, что я один здесь, и я по-настоящему бессмертен — ровно до тех пор, пока не усвою центральную мысль своего ума, ради которой и возвёл все эти декорации, добавил их населяющих; эта мысль бросилась на меня после первого в жизни В-52 и так меня напугала, навела такую гулкую экзистенциальную жуть, что я решил обратиться к интеллигентам, чтобы тотчас рассеять эту страшную трансцендентальную мысль и отменить своё одинокое всесилие:

— Господа, прошу прощения. — Вклинился я в их диалог, чем вызвал удивлённые ли и заинтересованные взгляды. — Мне кажется, я солипсист.

— Что вы, уважаемый, — улыбнулся первый (Первый) интеллигент, — вы просто ещё молоды!

— Молодость — это недуг, который проходит со временем. — Приосанился Второй. — Я так понимаю, вы пьяны, молодой человек?

— Верно понимаете, господа. — Я не верил ни единой детали происходящего, и почему-то меня это успокаивало.

— Ох, молодой человек, я вам завидую, — покачал головой Первый. — Столько свежих открытий впереди... Дался вам этот солипсизм, ловушка для ума?

— Да-да, — поддакнул Второй. — Непродуктивная и тупиковая, но, могу понять, ласковая для горделивой личности. Вы читали Писание, юноша?

— Можете звать меня Моряком.

— Ваше прозвище? — Сощурился Второй. — Так читали или нет?

— Читал, конечно.

— Помните, как было в пятом Евангелие, от Павла? «И я возжелал, и труд стал вторичен»...

— ...помню...

— А их всего четыре, Евангелий, в Писании.

И оба расхохотались в унисон, тембром дьявола.

— Ладно, мы с коллегой так шутим. — Отсмеявшись, произнёс Первый. — Уважаемый Моряк, возвращайтесь к своим товарищам и не будьте так хмуры. Будьте добры!

— Да-да, дорогой Моряк, желаем вам счастья!..

Далее последовало три шота ещё какой-то гадости подряд — взял их прямо на барной стойке. Врубель уже отплясывал танго, не сняв тренч, в центре бара с одной из дамочек, рыженькой, — им хлопали и задавали ритм, стуча ложками по столу, остальные её подружки. Староста зачем-то достал доску и расставлял фигуры напротив Конста, с томным видом смакующего белое бургундское.

Девушка старосты положила тому голову на плечо. Илия вдруг обратился ко мне:

— Ну вот, а ты боялся... Чего боялся? Столько наших сборов пропустил.

И смотрит на меня — пытливо, словно критик на нерадивого автора. Я отмолчался.

— Ладно, отойду. Проследишь за рюкзаком?

Рюкзак у Илии был внушительным, массивным, цвета походного хаки. В нём он хранил всю свою жизнь, как в РПГ-играх: паспорт, кошелёк, документы, ноутбук и различные зарядки, памятные мелочи, предметы для водных процедур и даже сменные бельё и одежду. Как Илия говорил: «никогда не знаешь, где окажешься вечером»...

...впрочем, фраза эта больше бы подошла Ворулю и хищно подцепившей его его пассии: их танго стало грязным, лямка бюстгалтера дамочки маняще свисала с левого плеча, и вся незнакомая мне публика бара, как прикованная, следила за этим хореографическим непотребством. Откуда-то в зубах парнишки появилась белая хризантема, официантка, проходя мимо и смеясь, нацепила на него фетровую шляпу — и рыжая дамочка сняла её с головы Ворулю, надев на свою, и в этом действии было столько запретной чувственности, что я не выдержал и переключился на партию Конста и старосты. Я вообще не понимал, что за конструкторы разворачиваются на клетчатом поле боя, эмергентность вновь была утрачена, словно баталия происходила на уровне диалоговой телепатии между ними двумя, этакая схватка умов, недоступная наблюдателю, по крайней мере, подвыпившему, они хохотали и говорили на непонятном теоретическом языке — короче говоря, шахматы тоже меня отвергли, и я не ведал, куда себя деть в этом светлом псевдобогемном баре.

Выпив ещё шот, я взялся за размышления: о брате, о нынешнем своём пути по тропе науки, о том, что последний, признаться, в конец меня вымотал, о своей подработке и гранях её, о Ней и гранях нас. Казалось, кроме Нее ничего стабильного в моей жизни быть не может по определению, я был спичкой, горящей только посредством собственного уничтожения, умаления, упадка, жил стремительно, увлекался и разочаровывался в краткие сроки; к тому же, я оказался лжецом и был не уверен теперь, могу ли доверять даже себе, не говоря о всех прочих. Вероятно, за моей страстью к драматизации, олитературиванию, пафосу в самом деле таилась обыкновенная травма, травма оставленности братом, и всё последующее после его пропажи, вплоть до текущего момента — лишь инерция, следствие причины, объяснимые и банальные. Деятельность, продуктивизм, труд очеловечили меня, да, я стремился стать человеком, но человек — враг Человека, как верилось, и мне предстояло, казалось, всю жизнь метаться меж этих двух полюсов, выбирать сторону и вечно сомневаться. Размышления, как видно, откровенные и путанные, и, видимо, всё это я произнёс вслух, поскольку моё помутнение неожиданно прервал Второй:

— Ну, какой же вы солипсист после этого монолога, Моряк? — Аккуратно хлопнул по плечу. — Вы — самый настоящий экзистенциалист.

— Увольте, коллега, к чему ярлыки? — Усмехнулся Первый. — Я полагаю, что Моряку виднее, кто он есть. Солипсизм же был всего лишь удочкой, на которую мы доверчиво клюнули.

— Воистину, занятный вечерок, коллега. Моряк, а вам бы трактаты, трактаты писать...

— Увы. С писаниной покончено. — Отрезал я как-то виновато и смущённо.

— Как же вы планируете воплощаться? — Поднял в удивлении брови Второй.

— Эээ, ну... В музыке я думал.

— В музыке?! — Хором двух голосов.

Я бросил на них уязвлённый взгляд.

— Не поймите превратно, Моряк... — Поспешил сгладить ситуацию Первый. — Но вы хотя бы сольфеджио муштровали? Этюды, гаммы, нотную грамоту?

— Без базовой подготовки я бы не подступился.

— Коллега, ну, не душите талант. — И оба добродушно рассмеялись.

— К слову сказать, коллега, время-то не детское... — Второй взглянул на часы с цепочки.

Здесь они суетливо и как-то поспешно собрались и едва ли не стремглав, размахивая лапами пиджаков, вылетели из бара. Времени было без трёх минут час: метро вот-вот закроется, и мне следовало побежать за ними, чтобы прервать этот преступный чад кутежа, но Илия всё не возвращался, и его рюкзак смотрел на меня с укоризной заклёпками карманов; мне захотелось излить рюкзаку душу, и я экспромтом заговорил стихами, примерно такими:

— Рай для слабых и брезгливых
Ад для мелочных, трусливых
Лимб — святая простота
Мой же выбор — Пустота

Кости бросил чёрт на небе
Ангел из котла глядит
Их связали клятвы, цепи;
Я свободен, я — забыт.

Рюкзак не ответил.

XIII

«Мне нравилось быть пьяным. Я понял, что люблю пьянство навсегда. Оно отвлекало от реальности, а если мне удастся отвлекаться от этой очевидности как можно чаще, возможно, я и спасусь от нее, не позволю вползти в меня»

Чарльз Буковски, «Хлеб с ветчиной»

Ворубя в конечном итоге украли — та стая женщин в возрасте — больше я его на шахматных собраниях не видел, хотя на учёбе он появлялся. Конст выиграл партию у старосты, Илия вернулся из туалета...

Я же... упомянуть Люцифера и его историю было бы уместно, но пафосно, поэтому приведу другую историю: о мальчике, который тайком, по камушку, собирал коллекцию оных камушков, но не абы где, а в специальной заброшенной цистерне на детской спортивной площадке, в такой громадной цилиндрической железяке с приставленной к ней лестницей, высотой под три метра, да и камушки были не стандартной галькой, а идеально круглыми, полупрозрачными и обязательно разных цветов — в его районе, где располагалась бывшая промзона, такие были разбросаны всюду, как её, промзоны, пережиток. И вот мальчик, с детства и до совершеннолетия, каждый божий день выходит на прогулку, ищет, словно частный детектив, эти милые цветные шарики, бережно несёт их в ладошках под конец «рабочего» дня, бросает в цистерну с высоты трёх метров, и в утро совершеннолетия, когда цистерна уже практически полна этим сокровищем, на которое ушла вся его, мальчика, жизнь, обнаруживает, что детскую спортивную площадку за ночь снесли. Цистерну ненароком перевернули, шарики украли, и лишь несколько их штук сиротливо валяются на месте ограбления.

Примерно так я себя чувствовал на утро после демо-версии вакханалии.

Полная версия мне ещё предстояла. Да, с того вечера я сделался завсегдатаем посиделок с одноклассниками, ходившими по барам чуть ли не через день, каждый раз это бывал какой-то водевиль, который можно презентовать близким на кухне либо новым нежелательным знакомым, чтобы их спугнуть; детально их приводить я не стану, здесь будет достаточно применить *фантазию*, чтобы представить сцены, аналогичные ранее описанной. Я бы хотел меньше сосредоточиться на деталях сейчас, дабы не сбивать себя со следа, — тема предстоит непростая, тема моего стремительно развившегося алкоголизма.

Я увлёкся алкоголем — возможно, это было не совсем моим свободным решением, и я пал пленником приятных обстоятельств, но семена недуга за три предстоящие недели успели прорасти и выступить пышным цветом. В мой досуг добавилась пятая шестерня — механизм понемногу усложнялся, ускорялся, при том в этой перипетии увлечений, столпов моих будних дней, как-то в очередной раз затерялось моё с Нею времяпровождение.

В тот злосчастный вечер я вернулся под утро, когда Она уже крепко спала, — небрежно бросив пальто куда-то в сторону крючка, я стянул носками стоп ботинки и, почти не раздеваясь, лёг рядом и тотчас уснул. Утром меня ожидал завтрак в постель — омлет с зеленью, кружка зелёного чая — и диалог:

- Ты пил вчера?
- Как ты поняла?
- Ты же говорил, что не будешь...
- Нет, правда, как ты это поняла?

Она вздохнула и чуть закатила глаза.

— От тебя до сих пор несёт. Ты бы хоть зубы ночью почистил, обычно ты не забываешь.

Этот упрёк меня кольнул и отчего-то разозлил.

— Ты же знаешь, как мне тяжело с людьми. Я бы хотел использовать это как социальный клей, хотя бы попробовать.

— Но тебе же нельзя!

— Я с июля не на таблетках.

— Но ты ж сам говорил, что нельзя! Как там — «не навредить ни себе, ни окружающим», да? Твои слова!

— Я это тебе говорил?..

...в общем, поругались мы тогда, и консенсус получился двусмысленным: делай что хочешь, но помни обо Мне. Лично я — по меньшей мере, поначалу — не считал, что мог бы стать жертвой столь очевидной и прямой, как палка, что подпирает картонную коробку, ловушки. Как и всякий, очутившийся в сетях, я отрицал их наличие и уже пустившее корни влияние. Мне казалось, что я достаточно благоразумен, чтобы в один момент прекратить, ведь воля моя не дремала, а вспыхнувшая страсть — явление мимолётное. Но спустя неделю совместных с ребятами барных приключений я стал брать с собой в переход бутылку-две-три какого-нибудь немецкого лагеря, и мой голос обретал чарующую хрипотцу, пусть это и было скорее самоутешением, плацебо. Затем я приобрёл фляжку... Короче говоря, выпивать я стал каждый день, и даже метафору для этого бедствия не подобрал, не пытался оправдываться и прикрываться каким-нибудь поиском жемчужин на дне стакана, это было малосознательное действие — должно быть, я хотел понять, что именно доводит людей до делирия, исследовать эту болезнь, рассмотреть изнанку, объять и растворить чистым разумом эффект алкоголя, выяснить, кто из нас сильнее. Ещё мне нравилось косплеить маргинала, нравилось заочное осуждение обществом, это самонизвержение как бы возвышало меня над остальными. Ложное божество, дурная бесконечность; для меня пьянство было игрой, сродни теннису или шахматам.

К слову о последних: у меня, параллельно алкоголизму, развилась некоторая мономания насчёт шахмат, и всё свободное — да и занятое — время я посвящал непрерывной игре с самим собой в голове, мне стали мерещиться шахматные ситуации в быту, перед сном по потолку ходили призрачные кони и слоны, игру на гитаре я воспринимал тоже по-шахматному — дебют вступления, миттельшпиль припева, эндшпиль последних строк — словом, как умалишённый был, и, конечно, эта одержимость отразилась на моих выступлениях в клубе: уже и Илия, и Конст становились озадачены чередой моих смелых ходов, отчаянной и маньячно-выверенной бомбардировкой, и мне даже удалось выиграть у них пару раз, но в основном я захлёбывался в своём порыве и уступал чему-то более надёжному, чем порыв, — знаниям, опыту и пр. Спустя полторы недели собраний я впервые в пух и прах кого-то разделал — это был безликий-1, он попался в ловушку гамбита Энглунда, и я издевался над ним и пугался себя, какого-то безобразного садистического своего воплощения. Когда я поставил унижительный мат точно по методичке, я почувствовал себя великим манипулятором, вершителем судеб, вкусил власть, к которой стремился, как Икар к солнцу, наконец её коснулся и даже не сгорел. Теперь я приходил на собрания подвыпившим, периодически «догонялся» из фляжки каким-то дешёвым виски вперемешку с апельсиновым соком... помню, как свершил это зло: начал бравировать и говорить что-то о данности, таланте и слабых звеньях и, вероятно, переборщил, так как безликий-1 тогда сказал горестно:

— Видимо, я из тех, кому не дано. Жаль, мне нравились шахматы.

После той знаменательной партии безликий-1 к нам больше не заходил. Ребята, должно быть, видели, что со мной творится, но изменения в моём поведении были для них в веселье, ведь я стал смелее, агрессивнее и словоохотливее; в общем, сделался компанейским, а общество всё-таки благосклонней к экстравертам, нежели к их непутёвым антиподам. Мою

зачинавшуюся под личиной преобразования деградацию никто не распознал, даже Она.

Кроме... кота. В ту первую ночь он внимательно, будто смотрел в пространство за моим затылком, разглядывал меня спящего, сидя в позе буханки на табурете, и сквозь прикрытые ресницы мне мерещилось живое, человеческое любопытство в его зелёных, как хитин, глазах. Он словно спрашивал безмолвно, что со мной, как я это допустил, и ответов я пока — да и потом — дать не мог; я не до конца понимал, зачем уселся на карусель алкоголизма, но догадывался, что, в силу её изъезженности, она скорее всего развалится на полпути и прихватит меня с собой. В то утро после бара я полагал, что остался тем же человеком, которым и был до барного приключения, но цепная реакция была запущена, и оставалось только дожидаться взрыва и эпилога этого легального и вместе с тем нездорового Развлечения. Похмелья у меня никогда не бывало, только лёгкое покалывание на коже, сколько бы я ни выпил, и я мог, как мне казалось, ясно и последовательно рассуждать. Наутро произошла ссора, о ней уже известно.

После ссоры мы договорились с Ней сходить в лютеранскую церковь на песнопения под орган и другие инструменты — должен был выступать какой-то именитый оркестр и притом совершенно бесплатно. То была среда, двадцатое число октября, я уже привычно наклюкался к вечеру и, конечно, начисто забыл о договоре; привычно сидел в переходе и брэнчал блюз с расщеплением, рвано и некрасиво, но всё равно получал дежурные купюры в чехол. И тут звонок:

— Через десять минут встретить меня. Надеюсь, ты не пил.

(Я пойду на Эверест, непременно пойду)

— Хорошо, собираюсь. Только песню доиграю.

— Пожалуйста, не опаздывай. Хочу пообниматься.

— ...ладно.

Меня мутило, я не попадал по струнам левой рукой, но всё-таки решил сыграть наиболее сложную композицию из своего репертуара. Это был «Sunflower» от одного малоизвестного корейского мастера, любимая песня брата, которую я первым делом после его исчезновения выучил. На это ушла ровно неделя, и я даже забывал есть в последние дни, настолько хотел её освоить. Обычно я открывал и закрывал этой песней свои выступления, вот и сейчас решил не изменять традиции... и немного заигрался, повторил центральный пассаж четыре зачем-то раза; услышал вибрацию — новый звонок:

- Где ты? Тут холодно.
- Ох, бегу.
- Почему ты так? Я же попросила...

Сбросил вызов, шустро собрался и добежал до подъезда, где, нахмурившись, стояла Она:

- Вот он я. — Я зачем-то сделал реверанс.
- Господи... Только не говори, что ты пьяный.
- Не скажу.

Потянулся было к Ней, но Она отстранилась.

- Не хочу уже.
- Почему?
- Пойдём, опоздаем.
- Пойдём, чтобы затем опоздать?
- Если ты думаешь, что смешной, когда пьяный, то это не так.

Но за руку Она меня взяла. И так, с Ней и гитарой наперевес, я шагал к лютеранам, наслаждаться высшим религиозно-музыкальным пилотажем приезжего оркестра. Мир кругом плыл в размытых кляксах, я шёл, пританцовывая, чем смущал Её и прохожих. Последние казались рыбами — только задумчивыми, нервными и прямоходящими.

Наконец, дошли, постояли у входа, как привыкли при визитах куда-либо, и нас встретила женщина в синих одеяниях, атласно-небесной робе и почему-то в кокошнике, попросила оставить гитару в храмовой лавке — плюгавом зданьице снаружи церкви. После она спросила наши билеты, Она вытащила их из нагрудного кармана тренча.

Я отошёл, чтобы сбросить гитару в лавке, и здесь мне пришла замечательная мысль сыграть песню группы Сатана Печёт Блины, песню с не менее, чем название группы, одиозным текстом, уж не помню точно, какую — они практически все одиозные — но, к счастью, мои планы были расстроены Ей, подошедшей в тот момент, когда я уселся на каменную клумбу и уже крутил колки:

— Ты с ума сошёл?

— Я артист!

— Прекращай.

Замечание урезонило меня, и я, бросив на Неё вызывающий взгляд, всё же спрятал гитару в чехол и отнёс его под протекцию хлипкой, набожной на вид лавочной бабули. Наконец, мы зашли внутрь.

Как оказалось, вовремя — настоящие артисты поочерёдно представлялись, вставая со своих мест на оркестровом возвышении. Помещение было небольшим, светлым и опрятным — казалось, что Господь лично за ним присматривал, витал здесь какой-то слабоуловимый Святой Дух, нечто неслышное и трансцендентное в каждой детали, каждой досочке стен и пола, некое спокойствие и беззвучная, потусторонняя радость. Тем не менее, мне мерещилась во всей этой милой и безобидной обстановке крупница эсхатологической тоски — всё это радушие было неотрывно связано со смертью, напоминало о последней хлеще хрестоматийного «memento mori» — отпевания, свечки за упокой — словно было на самом деле ловкой маской, а за религиозным экстазом скрывались ужас, страх и нервный трепет, жуть и отчаяние от бессилия человеческого перед

неотвратимым и предопределённым. Пожалуй, впервые я, симпатизирующий вере, почувствовал её напраслину, её невозможность и — абсурдно, но — торжество; мне вдруг стало неприятно, даже оскорбительно от того факта, что вера в современности — аналог юродивости, претендент на атавизм, груша для битья, стало обидно за искусственно-высокий порог вхождения в неё и за то, что современные теологи и симпатизирующие им не бьют ни тревоги, ни клича для сохранения этого бесценного тлеющего уголька, даже не пытаются и заняты комплексными теологическими эманациями о том, как правильно читать Предание и как в миру звали того или иного пророка; короче говоря, не онтологией, а герменевтикой, не причинным, а историческим мышлением. Конечно, я не был теологом, но именно в гостях у лютеран, пока артисты садились за микрофоны, настраивали инструменты, пока не подали первые голоса, — именно в тот момент я понял, что никогда не стану миссионером или бодхисаттвой, вряд ли смогу показать кому-либо нужду в вере без применения социально-инженерных технологий и какой-нибудь твердолобой пропаганды. Нет, вера — дело личное, от «личности», и мне было тоскливо за каждую упущенную, увязшую в неврозе и светском атеизме душу, каждого адепта позитивизма, видящего в нём единственный верный метод освоения бытия, каждого ханжу и фарисея. И но я сам тогда воспринимал историю Отца и Сына несколько психоаналитически, и балласт моей эрудиции был слишком тяжёл, чтобы совершить требуемый ментальный скачок, однако мне хотелось верить, и я спокойно позволял вере воплощаться. Спасение тонущих... Затем началось выступление.

Мои светло-печальные мысли вошли в контраст с поведением: пока я слушал мастеровитые, ангельские сопрано на неизвестном, божественном языке, пока готические звуки органа захватывали мой дух, я, будучи пьяным подонком, ёрзал, оглядывался, тёр большой палец о большой палец, тянул шею вперёд-назад, как бы качая головой под размеренные ритмы, дёргался — в общем, осквернял своим присутствием происходящее надземное

искусство. И но собравшиеся, казалось, не замечали моего свинства либо делали вид, что не замечали, а Она слушала подле меня, с таким внимательным и невероятно серьёзным видом, будто умершие предки вплоть до девятого колена пробовали сообщить ей что-то важное через волны музыкального блаженства, окутавшие лютеранский приход. И здесь я совершил невозможное и отвратительное: я поднялся с места и, шатаясь, направился к оркестру, тот по инерции играл ещё секунд пять, после замолк, а я подошёл к первой скрипке, выхватил её микрофон и словно какой-то тамада на крестинах выпалил:

— Господа, это настолько прекрасно, что я не могу сдержаться слёз. — В самом деле почуял накатывающий к глазам жар. — Я... я червь, что так прервал, но я хотел бы сказать — не прекращайте верить. Никогда. Всё воздастся, всё.

После, собрав урожай удивлённых и одного поражённого — Её — взглядов, я вернул микрофон на место и, спотыкаясь, вернулся на край скамьи, где мы с Ней примостились. Выступление возобновилось, но мне мерещилось в нём теперь нечто стыдящее, какая-то священная укоризна и смущение, а прихожане — кто с пониманием, кто с презрением — не прекращали меня оглядывать. Она налилась пунцовой краской и даже пересела на другую скамью. Так, по отдельности, прошёл остаток вечера...

— Хотела тебе сказать. — Произнесла она спустя семь минут молчания. — Тебе стоит прекратить пить.

Мы шли домой в сумерках, и с нами шла морось, блестевшая острыми кристаллами в горевших фонарях.

— Я знаю, но... я ещё не закончил.

— Не закончил что? Ты не видишь, что с тобой творится?

— Да, согласен, это было лишним, но...

— Что «но»?

— Я чувствую себя настоящим.

Здесь мы остановились. Кристаллы дождя кусали Её лицо, холодное и влажное от них, она смотрела так проникновенно, так печально, что я пожалел о только что сказанной фразе. Затем Она произнесла фатальное:

- Я думаю, нам лучше пока пожить отдельно.
- Да почему?!
- Ты что, не видишь, каким невыносимым стал?
- Ты меня так наказываешь?
- Скорее защищаюсь. Уезжай завтра, ладно?

И мы оба тяжело вздохнули.

XIV

*«We're killing strangers
So we don't kill the ones that we love»*

Marilyn Manson

Так наш мутуализм был поставлен на вынужденную паузу. Уходя я случайно — клянусь, случайно — наступил на кота, на хвост, кот как-то жалобно мяукнул, оглянулся печально и старчески-медленно поплёлся из коридора на кухню.

— Может, ещё стакан мне разобьёшь? —
Прокомментировала Она.

— А, может, мне не уезжать никуда?

— Нет.

— Что «нет»?

— Это значит «уезжай».

Дверью за мной Она хлопнула громче обычного, с некоторой силой, показательным нажимом. Выйдя во двор, я первым делом достал фляжку — виски-апельсиновой смеси в ней было на дне — и пришлось тащиться с двумя пакетами вещей, Веселином Топаловым подмышкой и гитарой за плечами в магазин, за восполнением. Времени было двенадцать, пары уже вовсю шли — я прогуливал их четвёртый день подряд, косплеил Германа, косплеящего смерть. Было решено поплестись домой, к родителям.

Дома меня встретила мать:

— Ты... ты чего здесь?

— Да так, маленькая ссора.

Принюхалась...

— Боже... Ты что, выпил?

— Да. Вопросы?

Мать взглянула на меня с каким-то страхом, но ничего не ответила.

— Если вы никому её не сдали, я в комнату.

И, никак не препятствуя, мать провела меня до комнаты.

— Будешь есть? Там гречка с мясом в холодильнике...

— Спасибо.

Кинув пакеты с вещами и гитару куда-то на кровать, повесив рамку с Веселином над ней же, я направился на кухню за обедом. Выпить апельсиновую фляжечную смесь, не позавтракав, было неудачным решением — меня мутило и неприятно пошатывало — и, разогревая тарелку с гречкой, я глядел в занавешенное окошко, за которым слабо проглядывались очертания двора. Микроволновка щёлкнула, чуть погода засвистел и чайник, который, видимо, был поставлен матерью ещё до моего возвращения.

Удоблив кипятком чайный пакетик, я наблюдал за тем, как клубы чая понемногу захватывают воду, поначалу несмело и как-то фрагментарно, но вскоре они окрасили гранёный стакан насыщенным бурым цветом. Я повертел стакан в ладони и вновь взглянул через него в окошко, будто через ранее не знакомую, новую оптику. Эта сцена казалась мне архетипической: такой, словно мифическое путешествие юного героя завершилось, и оставались лишь затяжной прыжок в известный, но позабытый быт, почивание на не успевших родиться лаврах, тихое угасание. Гораздо отраднее плескаться в потенциале, а не захлёбываться кинетикой; в последней я и захлебнулся и уже готовился окончательно утонуть — жемчужного дна в липком болоте

алкоголизма я до сих пор не достиг, только растерял свою и без того незначительную человечность, уже стал, а не притворялся, маргиналом и, кажется, не собирался останавливаться, не мог остановиться. Шестерёнка учёбы дала первый сбой — вот-вот и остальной механизм придёт в негодность, и виной тому было моё клятвопреступное решение выпить ещё разок с одноклассниками, взмах крыла бабочки, нулевой пациент, снежинка на краю лавины. Смех. Глоток из фляжки...

За жалостью к себе я не заметил, как за окном стемнело, как на кухне очутился вернувшийся с работы отец. Он не выдал удивления и только спросил:

- Вы всё с Ней, разбежались?
- Нет. Маленькая ссора...
- Из-за этого? — Он кивнул на фляжку в моей правой руке.
- В том числе, да.

Отец, улыбнулся, вздохнул и сел за стол напротив.

- Ну, рассказывай. Как так вышло, что ты теперь — алкоголик.
- Ты меня осуждаешь?
- Нет, с сентября ты в свободном плавании, сам знаешь. — Опёрся виском о кулак. — Но, раз уж ты неожиданно вернулся, мне нужно знать, вдруг тебе нужна помощь...
- Да какого чёрта-то, а? — Я вдруг вспылел. — Не нужна мне помощь! Может, мне и жить-то не обязательно...
- Сын. — Твёрдо произнёс он. — Расскажи.

...и я вывалил на него всё, всё, что было за прошедшие две недели алкоголизма: и совместные с одноклассниками приключения под шафе, и то, что решил забросить учёбу, и то, как из перехода чуть не попал за публичное пьянство в отделение, и отдаление от Ней, и свои мысли по всем этим поводам. Я говорил долго, сбивчиво и был совсем на себя не похож, лил на него, как на Стену Плача, свою путаную исповедь, это были слова забитого самим собой мальчишки, коим я, в сущности, стал:

— Я запутался, совсем и в конец потерялся. Мне... неясно, как жить, это стало слишком... затратным мероприятием. Я пробовал, правда пробовал, но... видимо, это не для меня.

— Жить не для тебя?

— ...да, точно. Смешно даже. — И я в самом деле горько усмехнулся.

Помолчали. Мне было восемнадцать, и за две недели кутежа я умудрился стать алкоголиком, завести ложных друзей, отвадить от себя Её и совершенно потеряться в этом завихрении Сансары. Я ни капли, ни толики не представлял, как жить дальше: как вернуться за учёбу, завод от мира мысли, как продолжать контактировать с одноклассниками, сопровождавшими и вдохновлявшими мой распад, как примириться с Ней, где искомая формула стабильности моей жизни, неужто я всегда теперь буду метаться от депрессивного состояния до гипоманиакального, однажды споткнувшись и после навсегда выбыв из всемирного ралли млекопитающих — совсем как сейчас...

— Знаешь, сын. Мне лично кажется, хотя бы с высоты моих лет, что у тебя всё в порядке. — Вырвал меня из размышлений отец. — Да, ты попал в неловкое положение, но, уверен, тебе хватит сил из него выбраться. Вспомни весну, оглянись на пройденное тобой — всё это ты прошёл сам, почти без нашей с мамой помощи. Пока рано сдаваться...

— Его всё равно не вернуть, — отозвался я.

Здесь он как-то смутился и умолк.

— Ладно, пойду к себе. — Я поднялся с места и убрал уже заветрившуюся недоеденную гречку в холодильник...

Глядя на потолок собственной комнаты, потолок, казавшийся новым, пусть меня не было всего три недели, я вспоминал первые дни после исчезновения брата — так, будто путы лимба опять

овладевали мной, снова возвращалась апатия, вновь проигрывалась старая и потёртая, как детские фотографии, пластинка. Мне хотелось, отчаянно хотелось помощи, но ни один её вид я не смог бы принять, я заранее знал, что она окажется или раздражающе-бесполезной, или конструктивно-вредной. Алкогольный демон во мне верещал в то же время, сулил жемчужины, до которых осталось рукой подать — и я не мог распознать в этой лести, в этих увещеваниях обман, мне хотелось раствориться в нём без остатка.

Так я не заметил, как уснул, и снилась мне свадьба: на ней Она в платье цвета незабудки, под древним развесистым дубом, совершенно не плача и даже смеясь, целует урну с моим прахом; наблюдал я за этим как бы из урны, от первого лица.

Проснулся я в четыре двадцать — имелся час перед тем, как маховик рутины станет раскручиваться. На меня, улыбаясь и щурясь, глазел плоский Веселин, и странная, возбуждающая мысль посетила меня в предрассветном мраке, а именно — дебют краба. В ту минуту шахматы наводнили меня, как бурная река, я, ещё сонный, поплёлся к ноутбуку и принялся за изучение выигрышных партий от именитых мастеров, начинавших этим дебютом. Дело осложнялось тем, что, как правило, это были игры в «пулю», где времени у каждого игрока с гулькин нос, — в шахматном клубе время не контролировалось, и Конст спокойно мог обдумать благоразумный ответ на каждый мой выпад. Тем не менее, некая потусторонняя, дьявольская одержимость овладела мной, неизведанный, новый виток моей шахматной вехи, теперь шуточки закончились, и всё стало серьёзней некуда — настолько, что просмотрев сотни сотен партий, отмечая про себя удачные решения, запоминая позиции и движение от одних к другим, прикидывая про себя онтологические причины тех или иных ходов, мозгуя и смакуя, я обнаружил, что за окном было по-прежнему темно — пятница закончилась. На экране телефона значилось два пропущенных от Нее.

- Звонила?
- Да, ты чего не брал? Пил?
- Нет... Сегодня нет.

Вздохнула.

— Я хотела сказать, что скучаю. И моё условие про «не пить» — ладно, Бог с ним, пей, если хочется.

— Мне уже не хочется. Просто... я пока буду занят.

— И чем же ты будешь занят?

— ...как обычно.

— Ты меня в гроб сведёшь, ты в курсе? — Вдруг выпалила Она.

— Каким образом?

— А сам-то не знаешь. Не думал, как мы будем жить, когда ты доучишься? Видеться раз в год?

— Честно сказать, не планировал так далеко.

Помолчали с минуты две.

— Хорошо. Подумай сейчас, надо ли оно. Учёбу ты забросил, как ты ещё три с половиной года выдержишь, если уже сдался?

— Я должен. Могу ли — дело десятое.

— Кому ты задолжать успел?

Этот диалог начинал меня раздражать.

— Слушай. Мне нужно закончить одно дело. Не переживай за меня, ладно?

— Делай как знаешь.

И сбросила звонок. Она, как и я, работать не хотела, но не из-за каких-то нелепых умозрительных экзистенциальных ловушек, нет, в Её случае это было твёрдое, взвешенное, чем-то отчаянное и вынужденное решение не делать из собственной жизни одолжение, остаться как можно более целой, увернуться от мясорубки капитализма, не позволить последней превратить себя в говорящий фарш. Каждый месяц Ей приходила пенсия потомка кого-то там исторически обиженного, на эти деньги Она могла мирно существовать одна — конечно, без сибаритства и перспектив, но этого хватало, чтобы питаться дважды в день,

кататься на общественном транспорте, оплачивать интернет и водичку без сахара и т. д. Моя семья, таким образом, легла на мои покатые, сутулые плечи — совсем как небо, наше личное небо на 2+ созерцающих. Я же был подростком с душевной травмой, расплывчатыми морально-ценностными ориентирами, короче говоря, ослепшей собакой, одной из множества многих, к коим мир был даже не то, чтобы равнодушен, — не относился вовсе никак.

Но то глобальность. На момент мне позарез было нужно одолеть Конста, обязательно идиотским дебютом — не старосту или его девушку, на их уровень я даже не претендовал — Конст был чуть ближе к земле, и от того, кто окажется лучшим стрелком в этой пустоши, зависело всё: настоящее, прошлое и будущее, моя судьба, чаяния и надежды, макроэкономика и геополитика по меньшей мере на ближайшие тридцать лет, то, имею ли я базовое право на существование. Ежели нет, то следующим — и единственным — ходом было бы устроиться каким-нибудь ничтожеством в отдел ничтожеств, забыть о музыке, остыть к Ней... Цена откупа от этого форменного ада: выигрыш — не техническая ничья или пат — в равной борьбе.

Ключевое слово — «равной». Я познакомился с шахматами три недели назад, Конст же посещал шахматную секцию с начальной школы, и мне предстояло одолеть две с небольшим пятилетки за два выходных дня, к понедельнику. Мероприятие сулило стать ответственнее и серьёзнее, чем что угодно уже прожитое, оказаться настоящей инициацией в силу экстремально ограниченных возможностей, ресурсов и каких-либо шансов на желаемый исход. Вспоминая, каких глубин бессознательного я достигал весной, я не мог отделаться от липкого, но бодрящего страха, адреналин от наступающей авантюры подстегнул меня; я был готов освоить шахматы целиком, сделать их своим трофеем, во мне проснулся какой-то воинственный дух, Арес, и когда Эос озарила утром субботы моё обиталище, я приступил к делу...

...очнулся под вечер, за гитарой и блюзом. Я ни черта, ни капли не изучил за ушедшую субботу: взгляд расплывался и тонул в клетчатых водах доски на экране ноутбука, шахматная нотация всё более казалась случайным набором латиницы и цифр, и я не заметил, как, сутки не спавши, свалился беспробудным сном до вечера. Мне нравилось наблюдать за тем, как время, которого и без того было катастрофически мало, тает, как тают шансы на успех, от которого зависело буквально всё, этот абсурдный метод пророчил моё крадущееся, как пантера в тени, поражение. И но я жертвовал драгоценным временем, чтобы прийти в кондицию последнего, чаянного рывка, без которой не мог принудить себя к работе. Образ Конста: самодовольная ухмылка, словечко «дядь...», насмешкой летящее по-над полоской бородки, фальшивая задумчивость — я аккумулировал необходимую злобу, конвертировал время в неё, чтобы подобно Архитектору Реальности подчинить реальность себе — иначе, казалось, в этих обстоятельствах мне было не справиться. Наконец, под полночь, когда оставалось сутки и две трети до часа Икс, я открыл онлайн-шахматы и принялся за игру с незнакомцами.

И, поразительно и невозможно, каждый мой кретинский дебют — польский, атака Бонгклауда, Натриевая атака — подмяли реальность под себя, сбили с толку каждого оппонента, мой напор был неостановим и безжалостен, все они капитулировали, и за серию из девяти побед мой рейтинг вырос в полтора раза от стандартного. Мной овладел безумный азарт, импульсная агрессия, которая, казалось, искажала реальность, как вогнутая линза или сферическое зеркало или даже некий, ещё не существующий генератор кварков. Я сменил вкладку на игру с ботом, выигрывал во всё более ожесточённых партиях, понемногу повышая сложность, пока не дошёл до десятой из десяти — наиболее комплексной версии, с которой даже сам Гарри Каспаров сыграл в несколько ничьих. Остановился, чтобы перевести дух, направился на кухню.

Мир плясал в фрагментарных, плывущих в воздухе осколках, я думал исключительно о предстоящей величайшей битве, суть и центр моего бытия были направлены на локальный армагеддон в триста третьем кабинете, где сами Ад и Рай, Нечто и Ничто вот-вот столкнулись бы в определяющей судьбу мира баталии. Нужно было поесть.

Наскоро забросив в себя бутерброды с плавленым сыром, я, как намагниченный неодимом, снова прилип к ноутбуку, где через холодную цифру на меня глядел дух Конста в оболочке умнейшего на тот момент бота. Приветственные ходы — я озорливо начал с е-два-е-три — чуть погодя случилась первая неточность от меня — двинул пешку вместо развития фигуры — затем вторая, третья, и довольно скоро бот-Конст пошатнул весы Фемиды и метафорически отрубил мне голову мечом последней: обидный позиционный проигрыш. Утеревшись предплечьем, я запустил новую партию, теперь за чёрных, отыгрывал вариант староиндийской защиты и вновь — поражение. Каждый раз, когда я искренне верил в своё преимущество, бот ехидно комментировал это заблуждение услужливыми подсказками чуть ниже цифровой доски: ошибка, зевок, мат через 11 ходов. Я сражался с интеллектом иной природы, чем органическая, созданным специально для хладнокровной победы, лучшим из лучших, и не было ни одной промилле вероятности того, что я смогу вывернуть ход игры хотя бы вничью, — дело обстояло так, словно я пытался истошно кричать на бетонную стену в надежде, что она сдвинется или хотя бы пустит испарину; я проигрывал, раз за разом, однако это были действенные, ценные, целебные проигрыши, ведь, хотя у машины-Конста не имелось ни намёка на психологию, у реального Конста таковая наверняка была. В острых моментах, по моему скудному опыту, борьба умов заканчивалась, начиналась скорее борьба характеров, и как раз последний я сейчас тренировал — я вцепился в эту мысль, как в соломину тонущий, анализируя каждый новый ход очередной (10-ой, 20-ой, 50-ой) партии, я метафорически умер ровно столько же раз, отменял ходы и переигрывал в десятки раз больше,

но конец был един и детерминирован и, скорее всего, ждал меня уже сегодня вечером — времени было два ночи, наступил понедельник. Я ел сегодня всего раз... Вдоволь поразбивавшись о клетчато-цифровую стену, достигнув какого-то своего предела, верхней планки, прыгнув около собственной головы, я не собирался останавливаться. Мне фанатично хотелось влиться в шахматы каждым литром души, без остатка — иного варианта не имелось, на кону была моя судьба, и я игнорировал голос здравого смысла, шепчущий о фактической незначительности события и моей иррациональной, дурной мотивации, — нет, мною правила душа, а не разум, она требовала совершить немыслимое, невероятное, почти на уровне «снова встретить брата». Я я растворился в порыве, стал един с потоком и моментом, и чем далее по временной оси продвигался ползунок настоящего, чем ближе была роковая партия, тем ярче разгорался душевный запал, пожар, в котором сгорала моя измученная, иссохшая ЦНС.

Об алкоголе я напрочь и думать забыл.

И вот, спустя тридцать семь часов непрекращающейся пытки над собой, этой абсурдной маеты, тиранства и самонасилия, я прилёг на минутку, чтобы перевести дух — и, конечно же, моментально уснул мёртвым сном без снов.

Вскочил растрёпанный, по какому-то нездешнему наитию, проверил часы — собрание клуба шло уже час, добираться до судьбоносного триста третьего кабинета было тоже час, и всё было бы прекрасно, если бы собрания длились фиксированное время, скажем, два с половиной часа, но продолжительность было не угадать, они могли свободно отправиться в бар в любой момент, и время, отпустив в страну снов, вновь стало моим антагонистом. Было решено вызвать такси — благо моя пьяная харизма достойно оплачивалась, и деньги водились — я зачем-то прихватил с собой гитару и, уже снаружи, нервно дожидаясь жёлтую машину с шашечками. Играя на манер волны пальцами правой руки, представляя грядущую партию, я не заметил как прямо меж

пальцев очутился опавший кленовый лист. Сезон листопадов неделю как завершился, этот лист был опоздавшим к банкету, долго державшимся и наконец поддавшимся ритму природы, — прямо как я. Я взглянул на его белую изнанку и ржаво-жёлтый форзац, затем бросил куда-то под ноги — вот и машина. Далее был телепорт до точки назначения, почти в памяти не отложившийся, лишь какие-то фрагменты и клочки: шоссе, тесно и душно, молчаливый, как Харон, водитель, икона «Святым Ангелам и прочим безплотным Силам», невесомая попса из магнитолы...

Явился я на собрание, хлопнув дверью, по-прежнему расстрёпанный и тяжело дышащий, вызвал недоумённые и будто испуганные взгляды, опрокинул чей-то бумажный стаканчик с недопитым чаем, бросил гитару в угол и грузной поступью направился к игравшим в тот момент Марку и Консту. Последний дожимал короля первого церковью и своим королём, готовя линейный мат, был скучающе-торжествующ; вот он, во плоти.

— Ты в порядке, Моряк? — Окликнул меня откуда-то извне староста.

Я не ответил и лишь *посмотрел* на него — староста смутился и отпрянул. Не дав Марку даже почесать макушку, посмаковать проигрыш, встать с места, я оттолкнул его, уселся напротив озадаченного моим явлением Конста и произнёс заветное:

— Сыграем матч, три партии. Если выиграю я, то вы больше никогда не зовёте меня в бар.

— С тобой всё хорошо? — Обеспокоенно спросила безликая девушка.

— Если ты, то... — Я задумался на момент, затем взглянул в угол, где валялась гитара. — Можешь забрать мою гитару.

Моя мономания, моё беспричинное помешательство достигли кульминации в этой точке: ребята затихли, не смея вмешаться, будто имела место какая-то библейская история, словно родился Антихрист; мир кругом погас, отступил в тень, и остались только

доска, я и Конст под светом воображаемых софитов. Конст глядел на меня как профессор психологии на новый в практике случай — непроницаемо-сосредоточенным взглядом — глядел с минуту, затем сказал:

— Добро.

Мы с Констом готовили поле битвы, расставляли фигуры, и было тихо, как в крипте, никто не осмеливался нарушить таинство и как-либо проявить себя. Это был час Волка, час Презрения, час Икс, мой час.

Наконец, староста традиционно взял по краевой пешке обоих оппонентов, перемешал за спиной, заключил в кулаки. Я указал на правый.

Белая.

Я глубоко вздохнул. Ещё девственное, изначальное поле боя, неподвижный Конст напротив, за своей армией, ждёт моего первого хода. Есть ровно двадцать возможных начал, первых ходов, и я так, словно готовился к этой секунде ещё в утробе, сделал священные четыре хода.

А-два-а-четыре. Аш-два-аш-четыре. А-четыре-а-пять. Аш-четыре-аш-пять.

Дебют краба.

Конст даже не выдал «дядь», как выдавал всегда в подобных ситуациях. Он оставался непроницаем и пристально смотрел на доску, ожидая моих действий, пробуя просчитать их наперёд, анализируя положение, — моё было обманчиво-бедственным. Мои ходы, не считая первых четырёх, были зловещи, ровно по методичке, я замечал, как всё более собран и углублён становится Конст, я душил его предельным благоразумием на контрасте с дебютным идиотизмом, передвигал фигуры плавно,

словно робот, при том обдумывая ходы не дольше пяти секунд. Напряжение между нами росло, оно стало почти осязаемым, как ток, — и вот, спустя одиннадцать ходов, Конст допустил первую неточность. Нефатальную — в ином состоянии я бы вовсе не принял нападение конём на королеву за неточность, в этом решении была здравость и логика, просчитанность на три хода вперёд. Но сейчас я мыслил масштабнее, проникновеннее, как терпеливый хищник, и характер Конста, против его воли, проявился, как полароид, выступил из-под непроницаемого лица, слегка обнажился и сделал носителя уязвимым. Я загнал коня в ловушку, после забрал его и *посмотрел* прямо Консту в глаза. Ответом были возмущение, ярость, какая-то неясная эмоция и жар, по-прежнему умело скрываемые. Шипы их уже проступили — ход за осторожным ходом, я помогал Консту вылезать из прохладного теоретического панциря, было видно, как он всё более раздражался, допуская всё больше неточностей, пока, наконец, не совершил ошибку, которая стоила ему мельницы на короля, королеву и церковь.

— Мельница, — процедил я. — Легчайше попался.

Конст не ответил, следующим ходом лишившись церкви и далее лишив меня коня. Знаковая партия моей жизни: я делал намеренно-истероидные ходы, чтобы срезонировать с ним, расшатать его мнимое равновесие. Борьба давно вышла за пределы шахматной доски, нет, это была битва характеров, где ставка — выживание, и я сохранял спортивное поведение, как мог на грани своего безумия. Конст же — нет, человеческое в нём ещё не до конца понимало, с чем столкнулось, было встревожено, как греховодник, услышавший глас Господень, как птица, что увидела вспышку ружья. Я уступал ему в стратегическом мышлении, в остроте шахматного зрения, в комбинациях и ловушках, однако нечто неземное, поэтическое руководило мною тогда, разрушало, по камушку, прозу его бытия. Вот и первый зевон Конста. Размен, невыгодный размен. Мат — конь и церковь.

Реванш за чёрных я проиграл. Конст впервые на моей памяти начал не с шаблонных е-два-е-четыре, а с польского дебюта — я ответил симметрично, чересчур использовал королеву и достаточно быстро получил эффектный мат. Партия — до сих пор помню наизусть — выглядела так:

b4 — g5
Bb2 — Nf6
e4 — Bg7
e5 — Nd5
b5 — c6
c4 — Nf4
g3 — Ne6
Bg2 — Qa5
Nf3 — g4
Nh4 — h5
O-O — cxb5
cxb5 — Qxb5
Nc3 — Qxb2
Nf5 — Bxe5
Re1 — Bxc3
dxc3 — Qxc3
Rc1 — Qf6
Rxc8+ — Nd8
Bxb7 — Qxf5
Bxa8 — Nc6
Bxc6 — dxc6
Qxd8#

Предстояла решающая игра, вновь за белых. Счёт сравнялся. За пределами теневого свода, ограждаемого иллюзорными софитами, не существовало никого и ничего. Казалось, и для Конста происходящее было в новинку — он никогда не был так озадачен пробой прочитывать, просканировать меня, однако режим Архитектора Реальности, незримый купол, о котором я периодически завожу речь, оберегали от этой участи. Мы были явлениями одного полюса, одной плоти, два Чистых Разума в двух телах, и выжить мог только один.

Я начал с едва-е-четыре, примерив на себя Ад, Конст ответил консервативно, е-пять. Сотни сотен тысяч партий начинались именно так, от детского мата до самой длительной за всю историю

симметричной игры Ротлеви и Эльяшова, и возможности, как фракталы, множились и вились, я играл уже не в обычные, нет, в четырёхмерные шахматы. Я попал в некое поэтическое, запретное пространство, где облака плакали серой и огнём, где воздух становился студнем, где горы плясали и сталкивались друг с дружкой. Я был на шхуне в океане, совершенно один, так глубоко и далеко, что космос был ближе, чем земля, и громады волн бросали меня то под поверхность, то ненадолго на. Мир, параллельный реальному и надёжному, стал преобладать, стал единственным — мне казалось, что я останусь в этом красочном пространстве навсегда, отрезанным от внешней действительности пленником расколотого, затуманенного бессознательного; я был готов отречься, отдать себя океану, этой очередной версии лимба, сдаться и никогда больше не звучать. И но небеса, сплошь в грозовых тучах, разверзлись и пролили таящийся в них свет, и наступил внезапный штиль, и шхуна, едва не треснувшая от колоссальных нагрузок, вернулась в спокойную горизонталь, и вдоль борта плыла неисчислимая стая бессмертных разноцветных медуз, вся поверхность была в них, искрилась ими...

— Кажется, это пат. — Голос старосты.

На доске были мой король, четыре моих королевы, одна пешка Конста и его король, трусливо за пешкой пристроившийся. Мой последний ход превратил оставшуюся пешку в очередную королеву, и у Конста больше не было вариантов хода, это была абсолютная, тотальная доминация по материалу, однако по факту...

Техническая ничья.

— Что ж. Ни вашим, ни нашим? — Протянул руку Конст.

Я пожал её, будто кататоник, понемногу приходя обратно в себя. Медузы, шхуна, свет и небеса таяли, как утренний сон, проступали сначала силуэты, после фигуры ребят, пастельно-розовые декорации триста третьего кабинета.

— Так, ну теперь объясняйся, — обратился ко мне Илия, — что за ультиматум? И с чего ты такой шебутной?

— Да, ты нас немного напугал, — поддакнула безликая девушка.

— Немного — мягко сказано... — Добавил Марк.

Я вернулся из поэтического помрачения в подлунный мир, в мир логики и действительности, ни толики не веря собственным глазам и ощущениям, словно родился только что, и какие-то незнакомые существа обступили меня, что-то бормоча и таращась. Имело место мини-Столкновение с Реальностью — ресентимент от возвращения из бреда в явь — я в самом деле был как новорождённый, как дух, очутившийся в чужом теле и покамест пробующий освоиться.

Я не выиграл, не проиграл и всё ещё был жив. Макроэкономика и геополитика, конечно, шли своим чередом.

— Мне просто очень... хотелось выиграть, — проговорил я осевшим голосом.

— Ты принял что-то? Выглядишь безумно, — выразил беспокойство староста.

— Да нет, просто не спал два дня. — Я попробовал улыбнуться.

— Ладно уж, давайте зачётку, — промурлыкал Конст, и все с облегчением рассмеялись.

Далее последовало оживлённое и слегка тревожное обсуждение трёх прошедших партий. Илия словесно уничтожал Конста, припоминая каждую его ошибку, Конст как-то несмело бравировал, говорил, что поддавался. Всем было очевидно, что это не так, однако никто не мог подобрать верных слов для описания только что произошедшего, потому каждый, как мог, пробовал убавить, нивелировать повисшее в воздухе напряжение, говоря громче и бойче привычного. В моей голове гулял сквозняк, реальность приняла меня обратно из спонтанного трансёрфинга, я

размышлял о результате пари: оставшись при гитаре, я не избавился от фактора алкогольного деструктива. Ничего не изменилось от этой попытки заявить свою волю, разломать реальность, она незыблема и вечна, как бы я ни старался её оживить. Возможно, стоит попробовать другой метод...

— Знаете, — вдруг, неожиданно для себя, вклинился я во всеобщий гвалт. — Предлагаю это дело отметить.

— Дядь... — Брови Конста поползли ко лбу. — Я бы на твоём месте поспал.

— Отказ, — съехидничал я и продолжил. — Хочется расслабиться — не знаю, как вам...

— Давайте, я тоже пойду. — Вдруг подал голос Марк.

— Марк, ты же непьющий, — одёрнула его безликая девушка, отчего-то покраснев.

— Могу сделать исключение... — рассеянно пробормотал Марк в ответ.

— Что ж, величайшая сходка в честь величайшей ничьи в истории! — Воскликнул Илия.

Все вновь рассмеялись, принялись собираться. Безликая девушка предложила посетить недавно открывшийся японский бар-кухню, идею поддержали поспешно-единогласно — казалось, всем не терпелось сменить обстановку, очутиться подальше от неудавшегося разлома реальности, переключить радиостанцию, заместить тишину шумом и событиями.

XV

«How do I make myself real?»

Palisades

Илия и Конст были курящие — периодически они выходили наружу и стояли возле входа, потягивая белую и коричневую сигареты. Я выходил с ними. Сам не курил и принял решение не начинать — казалось, ни к чему были дополнительные оральные фиксации — однако имел пристрастие к кулуарным разговорам, которые, как правило, всегда сопровождают перекуры, эти по-особенному окрашенные простые и не очень слова за маленьким совместным самоуничтожением вдохновляли меня, селили на время странный задымленный свет.

— Предлагаю напоить Марка. — Объявил Конст, щёлкая чёрной зажигалкой. — Думается, это будет забавно.

— Соглы, какой-то он зажатый. — Поддержал Илия, поднося белую сигарету к огоньку.

— А как они с Дианой переглядываются... — Продолжил Конст мечтательно.

(Диана, значит)

Малость помолчали. Два разреженных дымных потока пускались старостой и Констом, поочерёдно и неритмично, покрывая собой фонари и вывеску бара-кухни — «Ra-men».

— Ты, кстати, нехило поднялся по уровню, за три-то недели. — Обратился ко мне Конст. — Занимаешься с кем-то?

— Эээ... — я замялся. — Просто увлёкся дебютами чутка.

— А как ты его в первой партии, а? — Подхватил Илия, стряхивая крупницы пепла. — Выиграть дебютом краба это примерно как положить погоны в конце игры в дурака.

— ... — Конст как-то уязвлённо промолчал.

— Сейчас разгонимся и тоже с тобой сыграем. — Продолжил Илия и подтолкнул меня плечом.

— Э, нет, — я покраснел.

— Всё, весь потенциал выплеснул?

— Можно и так сказать...

...поболтав ещё немного, мы вернулись, и Конст на пару с Илией приступили к воплощению идеи о раскрытии теневой стороны Марка — который, прямо как я месяц назад, сидел будто на еже, смущённый и скованный оживлённой обстановкой. Бар был колоритный и цветистый, официанты обоих, наверное, полов носили лисьи карнавальные маски, по которым невозможно было опознать носивших, они были органичным продолжением атмосферы, как ракетка продолжает руку, сновали туда-сюда, разнося алкоголь в расписанных иероглифами фарфоровых чашках. Мы обосновались в углу на стыке панорамных окон, Марк сидел напротив Дианы — миловидная и миниатюрная, медно-каштановые волосы — поминутно чесал затылок, слегка не попадал в ритм в моменты всеобщего смеха и то и дело оглядывался. Играли традиционные японские мотивы, наложенные на современную драм-партию, ненавязчиво и атмосферно.

У Марка, по моим наблюдениям, была одна слабость, неуловимая черта, которой он почти никогда не позволял проявляться, потому как в эти моменты застенчивый налёт с него опадал, как с луковицы шелуха, и он становился одержимым. Эта черта проявилась пока лишь дважды: когда при одной партии со мной он в жаре четырнадцать раз просил переиграть одну и ту же позицию, и когда однажды выиграл Диану в, казалось бы, безнадёжном эндшпиле — он тогда почему-то весь остаток вечера извинялся и ушёл раньше всех, не попрощавшись. Казалось,

какие-либо нетиповые ситуации выбивали его из баланса, принуждали к импровизации, и он немерено возбуждался от свободы быть собой; возбуждался настолько, что становился каким-то неловко-абсурдным, малость нелепым, когда отклонялся от проверенной поведенческой методички, падая в безграничие возможностей. Мне, как Илие и Консту, был любопытен результат зарождающегося социального эксперимента, и, хоть самого меня пить не тянуло — захлопнулась кротовья нора — я решил запустить снежный ком, сказав:

— Предлагаю тост. — Я поднял одну из фарфоровых чашек, уже принесённых лисьими масками. — За... силу творчества, которая пронзает собой и небеса, и космос за ними.

Все подняли чашки, Марк тоже был вынужден. Затем, когда каждый пригубил напитки, я, сидевший слева от Марка, легонько толкнул его бедром и подмигнул, тем самым иницируя нестандартную ситуацию. Марк, повинувшись порыву конформизма, мигом осушил чашку, хрипло выдохнув на исходе глотка. Далее Конст и Илия, озорливо переглянувшись, начали наперебой обсуждать литературу, с запалом и остервенением кидаться друг в друга филологическими словечками: Конст признался, что мечтает написать «боллитровый» роман, Илия прицепился к этому прилагательному, и они, как заправские дебатанты, принялись спорить об определении «большой литературы»: один вспоминал фантастов, которые из зависти к успеху называли так популярные не-фантастические поделки, второй призывал «не позориться». Они игрались понятиями, как валютами различных стран, — японский суицидальный модерн, французская неоклассика, аргентинские послевоенные мемуары, русское автоматическое письмо — давили тем самым на Марка, который, в свою очередь, весь скукожился, как пружина под давлением, слушал и не смел вмешаться в ропот двух голосов, это сумасбродное балагурство, начатое как раз затем, чтобы его, Марка, расколоть. Всё это перемежалось периодическими тостами, то от Конста, то от Илии, направленными к Марку, звучавшими примерно так:

— За смерть сомнения!

- За большую литературу!
- За то, чтобы поэт нашёл свою музыку!

На последнем Марк не вытерпел и, опрокинув в себя голубоватое содержимое очередной чашки, встал с места и поплёлся в сторону туалета, на выходе случайно задев плечом Диану. Та поминутно смеялась происходящему и, казалось, совсем не контролировала принятие спиртного, словно старалась смыть собственный барьер робости, который у неё был чем-то вроде моего купола. Между ней и Марком витала явная недосказанность: так, в первый день они ушли вместе, и в последующие две недели она ни разу не появилась, не застала мой алкогольный регресс — но недавно посетила пару собраний, и сегодняшнее тоже. Имелось чувство, странное чувство, что когда-нибудь Марк позволит себе назвать её Ей, и смутная эмпатическая радость за приятеля грела меня, хоть размышлял я в этот момент о несколько других вещах.

Мысль, что шахматная вежа слилась воедино с алкогольной, преследовала меня — виделось в ней, в прошедших трёх неделях, краткое содержание истории становления всякого таланта — становления, обязательно идущего в паре, в оппозиции с каким-нибудь деструктивом — привычкой или травмой; происходящего вопреки, а, может, и благодаря. Ничья с Констом перемолола алкогольных демонов в пыль — стремиться было больше не к чему, я исчерпал каждое из занятий, за которые брался, — учёба, теннис, шахматы и алкоголизм — и за оставшуюся единственной музыку приниматься всерьёз я страшился, она мнилась последней препоной, которая, если (или, скорее, когда) тоже иссякнет и разочарует, оставит меня один на один безоружным против экзистенции и её фундаментального правила: трудись до смерти, авось воздастся. Трудиться я по-прежнему не желал и не умел, в труде мне мерещилась собственноручно наносимая себе же травма, которых и без того по жизни неприлично длинный список; этот пожизненный мазохизм казался в корне неправильным, сколь бы целительным ни обещался быть, сколько бы наблюдаемых плодов ни приносил, скольких людей бы ни спасал;

казался тем условием существования, которое можно и даже следует обмануть, обойти, выторговать — но ни в коем случае не смиряться с ним. Под «трудом» я, конечно, имел в виду не всякую деятельность, но непреложную необходимость делать то, к чему не лежит душа, то, что не хочется, взамен на какую-нибудь материальную подачку в качестве утешительного приза (и то если повезёт). По-моему, не имеется ресурса ценнее времени, невозполнимого и без того скудного, и обменивать его на что-либо кроме сознательного поиска ответов на немые вопросы гнозиса — оставаться, в конечном счёте, надутым простофилей. Я стремился сотворить собственную формулу бытия, и концепт труда в неё пока совершенно не вписывался; я не представлял, за что вообще возможно сознательно отдать время, не чувствуя себя ренегатом, это казалось эквивалентом продажи души. Я вспоминал брата, которому никогда не приходилось трудиться, зубрить и преодолевать, любые дела давались ему налегке и с песней, так, словно он иначе и не мог.

Конст с Илией, тем временем, как заведённые, прошедшие точку невозврата ожесточённо спорили на ту же тему — литературы — развязно и безобразно, едва не переходили на личности, чем малость портили наш барный релакс. Староста о чём-то тихонько ворковал с девушкой, головой на её плече. Мы были полностью в сборе, и я глядел на своё нетронутое дайкири, щедро залитое сиропом блю кюрасао, и шустро поменял его местами с пустой чашкой Марка. Вовремя: только я свершил свою напёрсточную шалость, Марк воротился, почему-то глазами в потолок, который представлял из себя имитацию ночного небосвода, если не обращать внимания на бегущие по нему водопроводные трубы. Затем он, не сядя на своё место, осушил свою-мою чашку, положил ладонь на плечо Дианы (та вздрогнула) и вклинился в обсуждение Илии и Конста, как смерч или торнадо, назвал обоих балбесами, которые ни толики не разбираются в предмете, и уж он-то, Марк, сейчас разложит все их пререкания по полочкам. Он говорил долго, терял нить мысли и тут же находил, не убирая руки с Дианиного плеча, будто находя в нём

подпитку, как Самсон от земли, — о связи всякого произведения с историческим контекстом, о том, что произведения гиликов заметно популярнее, чем психиков или пневматиков, о сверхзадаче литературы как гласа поколения, который пробует растянуться на поколения в обе стороны от настоящего, о том, что поэты, в сущности, проникательнее философов, хотя их методы и различны, если не противоположны, о том, что... Пьяный Марк преобращался, говоря всё это, обычно немногословный и стеснительный; это была речь разгневанного гения — всем было ясно, что и Конст, и Илия в сравнении — шуты гороховые, и их тезисы, хоть и сказанные в шутку, ничегошеньки не стоят. Марк упивался происходящим, сам будучи упитым, и в какой-то момент он взял за руку Диану, увлёк её с места к центру помещения, встал на колено и, приковав к себе внимание вообще всех находившихся в баре-кухне, продекламировал:

Жизни со мной не построить
Хотя жизнь целиком в моём сердце
Умещается. Я — астероид
Что сгорит, чтоб смогла ты согреться

— Я... я согласна. — Едва шевеля губами произнесла Диана.

Илия достал из рюкзака бутылку грушевого сидра, открыл её с характерным шипением и бросил Марку крышку с пластиковым колечком на ней. Марк поймал пятернёй безделушку и, не вставая с колена, надел колечко на безымянный палец Дианы. После бар-кухня вспыхнул аплодисментами и присвистами, и Марк, поднимаясь с колена, как будто обратно скукожился, свернулся, вернулся в привычное состояние — залился весь краской — а затем поцеловал Диану, при всех. Кто-то ахнул, кто-то присвистнул ещё громче, староста и его девушка захлопали, смеясь, Илия бормотал Консту «хе-хе, шалость удалась», и появилась на свет новая пара, и я был совершенно трезв и почувствовал такую невыразимую и глубокую тоску от собственных странных взаимоотношений, не зависть, нет — видение чужого счастья напомнило мне о ценности моего личного: о том, что я люблю Её, о том, что

хотел бы встретиться с Ней болеро последних дней, о том, что не найдётся на земле человека, которым я восхищался бы больше, коего уважал бы сильнее, которого оберегал бы от себя ревностнее, чем кого-либо ещё, живого или мёртвого, спящего или проснувшегося, не суть совершенно. Мы были с Ней в конфликте, затяжном и нелепом, от моего неумения существовать нормально, от какого-то состояния постоянного поиска своего уровня, своего предела я позабыл, к кому обращены мои страхи и чаяния, мои мечты и слова, моя музыка и воля, моя боль и скрежет зубов, моя память и навыки, мой талант и гений, мои молитвы и проклятия. Я был червём и вассалом своей ментальной западни, я был Богом лишь с собой tête-à-tête, я был человеком наедине с Ней, я не знал, чёрт побери, кто я такой, и казалось, что никогда не узнаю — даже если уйду в море, даже если вновь когда-либо встречу брата, даже если мои музыкальные поделки станут культовым феноменом в кругу каких-нибудь любителей всего *странного*. Но я ждал и верил, что однажды сумею созреть, проведя нас с Ней через враждебный лабиринт этого бытия, покинуть каверзы бессознательного, рассмотрев, как сквозь призму, заглавные загадки гнозиса, и наконец прийти к единственному ответу — к тишине. К блеску кристаллов росы поутру, к звону смеха наших подрастающих детей, к стихам Ахматовой, лежащим на отведённой для них полочке, ко взгляду, чья нежность пережила не один десяток лет, не заветрившись, к воспоминаниям на лавочке под старость, бок о бок, рука об руку, навсегда и на несколько жизней. К этой тишине, которую я буду повторять, пробовать воссоздать, приблизиться и коснуться её до самой смерти.

...позже, примерно то же самое я высказал Ей по телефону, таким же возвышенным тоном, сбивчиво и едва не рыдая просился обратно — ей пришлось меня утешать. Уснули мы тем же вечером, вместе, без Веселина над головой.

XVI

«This is real, can you feel»

Sol Seppy

— Тебе шах. — Произнесла Она, подвинув коня.

— Да как? У меня была лютая комбинация на следующий ход. — Я негодовал.

— Что ж, теперь будет танго с королём. — Хихикнула Она.

Играли мы трижды в неделю, по средам и выходным. Шахматный клуб я после последнего визита в бар решил оставить, это была завершённая веха, счастливо оконченная история. Пар я тоже избегал, пусть снежный ком долгов и разрастался, копился, аккумулировал, — мне казалось, что чем непростее сложившаяся ситуация, чем сильнее давят сроки, тем заслуженнее, выстраданнее финал, тем ценнее трофей, тем оправданнее каждая секунда, потраченная на труд. Я всеми силами избегал посредственности, синонимами которой для меня были дисциплина, порядочность и тихий ход, — как заметил староста, стремился нарушить правила, не нарушая формальности, — и смог понять Германа, который для этой же цели избрал собственный путь.

Герман не покидал мою голову ещё с алкогольного дна, локального минимума графика моего духа, если представить таковой в декартовых координатах. Его внезапно обнаруженное мастерство, его блистательность напоследок так контрастировала с притворством полной бездарностью, так заражала и вдохновляла, что я едва не постановил для экономии душевных сил жить минимализмом, в стиле стоиков, скромно и бедно — если бы не Она за спиной, это «едва» бы меня не сдержало. Германа же ничто не сдерживало, он определённо был (либо казался)

заглавным героем собственной жизни, *странным* примером для подражания, скопировать который доведётся не мне. Вообще говоря, с утратой брата я бессознательно искал, кому стоит подражать, кем можно было бы восхититься не менее — искал в плодах культуры, настоящей жизни, мысленных экспериментах — и мой поиск приводил к вакуумному отсутствию такового кандидата, флёр очарования обязательно слетал при сокращении дистанции знакомства. Однако я не отчаялся и применил метод Франкенштейна: воссоздал лоскутный образ того, каким, по-моему, должен быть человек — из лучших черт тех людей, которые есть или были. В мой рефлексивный водоворот попадал каждый встречный, каждая усвоенная единица и деятель культуры, и их назначение, их эйдос подобно усреднённому фотороботу формировали собой мою личную субъективную вершину горы без конца.

Пока Она методично уничтожала мою фигурную армию, в меня пристально вглядывался кот. С моим *retrouvailles*, восстановлением в наших с Ней отношениях, серый кот, как индикатор, свой полюс сменил: теперь он избегал меня, неохотно принимал поглаживания, не ел с моих рук и периодически на меня набрасывался — так, словно в Развлечении я стал плохим человеком. Она замечала это и шутила:

— Вот кто главный злодей моей жизни.

Мне, как под кармическим гнётом, приходилось ввязываться в помощь по дому, готовить совместные активности, просто готовить. Не сказать, что это было в тягость — напротив, я жаждал служить, отмываться от налипшей ввиду алкоголя метафорической грязи, однако быт пил меня, утомлял бесцельностью и непреходящестью своей. Я был слугой Пустоты.

Вновь в ставшем родным доме, подле Неё, я часто размышлял о том, по какой онтологической причине стремился себя уничтожить, стереть с карты мира, как географический промах или более не актуальную константу — по типу гравитационной

постоянной, которую ввели только потому, что расчёты не сходились. Мне всё казалось, что моё существование — фатальная ошибка, что некий космический пятимерный демиург попросту не доглядел и впустил в земное тело ту душу, которая его не заслужила, не сможет пронести от и до, обязательно оступившись и утратив всё. Ни моряком, ни музыкантом, ни даже писателем в традиционных смыслах этих слов я себя не видел, всё это было притворством и ребячеством, и я благодарил небеса хотя бы за отношения с Ней, которые останавливали подобные мысли, как дамба катастрофу. Однако остаточные протечки всё же возникали и намеревались всегда выбрасывать за ткань этого мира в бесцельном резонёрском анализе всего и вся, намеревались лишить меня всего заработанного и выстраданного. Реальность и я — это антонимы.

Мы с Ней, как раньше, стали выступать в переходах под тем предлогом, что одному мне было тоскливо. Она понемногу училась игре на гитаре. Я всегда думал, что мы образуем с Ней две перпендикулярные оси, два мерилა этого мира, и наш с Ней потомок наверняка, по законам линейной алгебры, стал бы вектором, образующим третье измерение, чтобы сохранить таящееся в нашем союзе вырождение. Вырождение, конечно, в математическом, матричном смысле: я верил, что не найдётся сына или дочери на земле достойнее, самобытнее и ярче, чем плод нашей с Ней любви, третья ось.

Но, конечно, до всамделишного воплощения этих мыслей было тогда — да и сейчас — далеко. Мы были юными и нищими, да и отношения наши, пусть намеченные в вечность, вряд ли можно было теперь назвать доверительными. Я вернулся домой, но мне предстоял долгий путь обратно в него же, — доверие вещь хрупкая, однако, как и всякое чувство, стремится к вечности, пробует закрепиться в последней, и только сам человек в силах этому помешать, задушить, прижать росток полуживого чувства сапогом неумолимых быта, цинизма, рации и, наконец, похоронить. Наши с Ней отношения болели, и нам предстояло их лечить

собственными силами, малыми шагами, ползком подбираться обратно друг к другу.

Точнее этот процесс можно было бы описать через классический парадокс Зенона, в котором я был Ахиллесом, а Она — черепахой: как только я осиливал очередной марафон к ней навстречу, Она за это время удалялась чуть-чуть дальше — и весь марафон до этого, считай, обнулялся, приходилось снаряжаться в путь заново. К примеру, я мог неделю быть образцовым парнем из кунсткамеры парней (марафон), а затем забыть убрать посуду в посудомойку (черепаший шажок) — это не могло не расстраивать. Но я знал, что искупление за разгульный эскапизм будет длительным, и потому не терял духа. Она приняла меня обратно в критический момент — остальное было делом техники, времени и упорства.

Хочется опустить бытовые подробности и возникающие периодически скандалы — мой опыт в них далеко не уникален, а в этих реминисценциях я пробую сцедить собственную мысль, показать свою историю, описать нечто неуловимое и быстротечное, как сама жизнь. Достаточно знать, что спустя месяц, в который я вовсе не посещал вуз, наши отношения вновь вышли на привычное плато. Вуз я не посещал в силу наличия какой-никакой, но работы в переходе, острого накопленного ощущения недосыпа, которое принуждало задумываться о пепле, дубах и незабудках, кризиса наших с Ней отношений и в целом поганого по жизни самочувствия, как будто я находился здесь по своему Божьему промыслу. Я напоминал себе Германа, который наверняка тоже находил неукоснительные причины, чтобы жить так, как он жил или живёт. И, конечно, такой *modus operandi*, хоть и временный, создал мне очередное бельмо на глазу в виде массы учебных проектов, коллоквиумов, практикумов. Одногогруппники, наверное, уже успели со мной попрощаться... Я был вновь вынужден подвинуть Её с алтаря своей жизни в угоду каким-то преходящим материальным крохам — однако, когда я

заявил, что погружусь в учёбу и попросил особо меня не отвлекать и не дёргать, Она вздохнула, улыбнувшись, и сказала:

— Занимайся, это же твоя мечта.

Я тогда спросил:

— Что моя мечта?

— Уплыть от меня за тридевять земель.

— Ты снова поругаться хочешь?

— Нет-нет, не подумай. Я рада, что ты вроде как взял себя в руки. Просто...

— Просто что?

— Я заранее по тебе скучаю.

Здесь улыбнулся я.

— Не умру же я, в самом деле. Да и ты видела, сколько моряки за рейс получают?

— И сколько месяцев они в них плавают я тоже видела.

— Я буду возвращаться.

— А я, выходит, буду ждать.

Помолчала.

— Как знать, если бы ты тогда не избивал лицей, я бы, может, к тебе не подошла.

— И жила бы себе спокойно и счастливо, — я обнял Её, взъерошив волосы. — Как разберусь с долгами, пойдём на каток.

— Если они не растают к тому моменту, то давай.

XVII

*«Перевернуть мне хотелось весь мир
Но я перевернул только крест»*

Андрей Федорович

Из недостойных упоминания предметов я всё-таки спасу от забвения один: политические технологии. Этот предмет был факультативом и даром, на мой взгляд, не сдался морякам, но первый курс есть как бы нарост над школьным образованием, переходный этап между общеобразовательными яслями и специализированными зрелыми делами, призванный браковать совсем уж лодырей и слабаков с хронической аллергией на дисциплину. Посему, наверное, в программе первого семестра любой специальности имеются подобные отголоски униженного отрочества. Декорации, реквизиты и действующие лица новые, суть одна — предметы вроде этого в различных ипостасях призваны не выучить своему делу, не расширить кругозор, но поддерживать традицию непрерывного самообучения, закалять любопытство, учить смирению, которое на протяжении дальнейшей жизни станет для искателя своего рода Вергилием в аду его земного пути.

Политтехнологии казались пустейшей тратой времени, квинтэссенцией комариной плешки, даже рассматривать их гранит не хотелось, не то что его грызть. Казалось, что любое занятие безвреднее политики, даже битьё головой о стену или резание себя — ведь в этих случаях страдает один человек, а не каждый, пока wannabe Макиавелли, властолюбцы с синдромом вахтёра играют в человечки, постигают так называемое «искусство допустимого», а на деле упражняются в нарциссизме или спасаются от танатофобии. Как назло именно по этому предмету

накопилось больше всего обязательств — несколько эссе, три теста на Мудле и какие-то дебаты. Эссе — дело плёвое, достаточно прочитать труды двух-трёх мыслителей или даже сводку о них на Википедии, чтобы войти в контекст, как в бурную реку, а после — вопрос таланта подражать, жонглировать ключевыми словами, притворяться, что веришь в то, что пишешь так, чтобы даже самый закоренелый скептик не заподозрил подлог. Тесты я даже описывать не стану, в отместку за бессовестную кражу нескольких минут моей жизни.

Дебаты... Предстояло отстаивать жизнестойкость собственных взглядов — их абсолютного отсутствия, точнее — перед одноклассниками по олимпиадной демократической системе: двое дуэлянтов поочерёдно выступают с пятиминутной речью, а чья речь твёрже и фундаментальнее решают остальные во главе с судьёй — преподавателем. Преподаватель был ухоженным мужичком около сорока с лёгким вторым подбородком, поминутно нервно смеющийся и норовящий перебить того, кто говорит вместо него, — больше о нём нечего сказать.

Как человек в экзистенциальном кризисе, я, что уже должно быть ясно, пробовал развлекаться различными достижениями, постановкой безделушных целей, процессом без желания результата. Оттого неудивительно, что когда из всех боссов остались лишь эти дурацкие дебаты, до которых имелось четыре дня, мой наполовину осознаваемый комплекс Бога разыграл трелью душевных нот и потребовал принести ему победу. Цель сконденсировалась из обрывков мыслей, как нечаянный осадок в истинном растворе, стала зудеть, и — делать нечего — пришлось сесть за изучение всей политики. Чтобы, изворачиваясь подобно змиею на сковородке, протиснуться сквозь тернии одноклассников к Нему — к преподавателю — на финальный, решающий разговор.

Начал с простейшего — с «Капитала»... и спустя шестьдесят страниц увлекательных сравнений холста с сюртуком, опуская едва ли не религиозное вступление к труду, я подумал, что

продолжать чтение этого концентрированного разложения, деструкции читательской способности строить причинно-следственные связи — всё равно что утратить к себе уважение, преклониться перед мёртвым вождём и в духовном смысле вступить в секту. Вообще говоря, сектой мне казались любые объединения людей, живущих не своей, а общественной идейной жизнью, они виделись уже мертвецами, которые в силу глюка во времени вещают с той стороны, из мира идей велеречивые притчи и басни о том, как всё на грешной земле исправить. Я знал, что жизнь земная гораздо ближе к аду, нежели к раю, и что базовая задача земного пути — сохранить свой свет в театре тьмы (либо самому обернуться тенью). Сам я, конечно, был несчастен, но никому бы не позволил внушить светлое чувство счастья извне — на его поиск, пестование в мире смертной любви отводится целая жизнь, а, может быть, и несколько. Истерика и нервность, с которыми многие адепты политики транслируют свой рецепт преждевременной всеобщей нирваны, не выполняли в моём случае свою задачу — напротив, я лишь более укреплялся в нулевой политической координате. Покажите мне что-то лучше, чем мои облачные куличи, попробуйте — и я за вами пойду.

Далее было кое-что послаще — «Атлант расправил плечи». Её давал почитать брат в мои двенадцать лет — уже тогда мне померещилось нечто гнусное, глубоко самолюбивое меж строк. Спустя шесть лет предчувствие смогло оформиться во внятную критику: эта капиталистическая утопия, в которой недостойные злодеи падают в забвение Леты, а светлоокие, любящие, идеальные люди творчества живут вечно в сути своей антихудожественна, если не сказать античеловечна. Людей разделяли на категории и антиподы все, кому не было лень, некоторые разделения оправданы эстетически, иные — даже этически, но правда, помоему, в том, что мы все одинаково никчёмны, а никчёмны мы по той причине, что смертны. Любая утопия дарит не формулу общественного бессмертия, но вселяет напрасную надежду на рай земной — ему не бывать, пока нам есть что делить и за что бороться друг с дружкой, пока человеку нужен человек.

В антиутопиях же хотя бы честно признаётся, что мир прогнил, его устройство несправедливо, и единственное оправдание всей этой самодеятельности — человек и его страсти, его мысли и желание жить вопреки трагическим декорациям, назло другим участникам действия, хмурым и нечестивым. Короче говоря, «Атлант расправил плечи» — изнанка «Капитала», только не от бородатого пастыря, а от сильной высокочувствительной женщины. Читать их я бы рекомендовал в моём порядке — сначала пересилить «Капитал», после проглотить «Атланта», он легко читается — это, по-моему, кратчайший путь к политическому дзену и первому пониманию того, что первичен мир и люди, а геополитический макрокосм и идеи — не более чем надстройки. Впрочем, моё отношение к предмету известно, а значит, по мнению многих, мои мысли, как аполитика, внимания не стоят — однако я думаю, *ergo sum*. Панацея от политических интоксикаций и, наверное, проблем и страдания, ими вызванных.

После Бакунина и Кропоткина, ставленников анархизма, я много размышлял. Было очевидно даже дилетанту-мне, я подозреваю, что они и сами об этом знали: что продвигаемые ими идеи о вредоносности государства, о первичности индивидуальной свободы, о, как ни парадоксально, преобладании национального чувства над патриотизмом — среди прочих наименее жизнеспособны, и в мире идей наверняка занимают настолько далёкое место в очереди, что проявятся в мире материальном, наверное, под закат человечества. Тем не менее, меж строк обоих мыслителей едва уловимо витали нелицемерные надежда и боль, глубоко под контекстом исторической философии и неприязни к евреям в случае Бакунина теплилась вера — не религиозного, но общественного толка, предвосхищение космополитизма в далёком XIX веке во времена, когда космополитов ещё не объявили врагами народа, а их дедушек ещё не успели раскулачить. За сомнительной обложкой анархизма, критиковать который не мне, таился целый океан, цельный талмуд о гуманности, о глубочайшей любви к человеку, гордому и одинокому, о бездонной ненависти к законам материи,

принуждающим к иерархии, к унижению и подчинению Другого. Короче говоря, анархизм мне, как индифферентному к будущему юноше, показался наиболее здоровым политическим течением, несмотря на тьму очевидных контраргументов — к примеру, отсутствие развитых анархистских сообществ или внешний вид стереотипного панка-анархиста. Вывод: если не удалось уберечь себя от заражения политикой и хочется оградить душу от старения — можно смело приобщаться к анархо-свету; разумеется, лишь в сознании, а не на деле и уж тем более не в образе жизни.

Были и многие, многие другие — я штудировал интернет три дня, грызя политику, как криптонит, но о них мне сказать по итогу нечего, кроме как пожалеть о потраченном времени; данаидова бочка моего бессознательного пополнилась инородными сущностями, которые я надеялся извлечь на грядущих дебатах и после навсегда бросить обратно в бочку. Я догадывался, что одноклассники подошли к делу менее ответственно, как к очередной учебной задачке, одной из многих — для меня же было делом азарта, абсурда или принципа дойти до финала политических дебатов, будучи аполитичным. Преподавателя одолеть я и не чаял, всё же, даже в экзистенциальном кризисе я сознавал, что всегда найдётся рыбка покрупнее.

До дебатов оставался вечер, и я предложил Ей отвлечься от вязания себе и мне шапок на грядущую зиму и провести тренировочные дебаты на свободную тему. Она, как и я, к миазмам и инсинуациям, грому и молниям политического мира была безразлична, однако Она с самого рождения жила с матерью, которая поклонялась социализму и при том не любила иностранцев и ежедневно до сих пор присылала Ей в мессенджерах актуальные новости политики и геополитики. Мне было любопытно, получится ли противопоставить Её бэкграунду свои три дня вникания в тему.

Услышав предложение, Она мягко вздохнула, положила спицы и недовязанную тёмно-зелёную шапку на стол, подле уже связанной бледно-розовой шапки с ушками, и спросила:

— Тему-то придумал, дебатант?

— Хм... — я призадумался на несколько секунд, — давай о травле.

— Школьной? — Она прищурилась.

— Где бы то ни было.

— Ох... ну, давай.

Я малость призадумался, и, чуть погодя, выдал первый тезис:

— Травля это естественно, но безобразно.

— Не соглашусь. — Тут же возразила Она. — «Козёл отпущения» — красивый образ, и он как раз о травле.

— Так...

Я почувствовал, что пасую уже на второй реплике. В отличие от меня, мистера Постмодерниста, Она верила честно и искренне, без прикрас, условий и компромиссов — Она, конечно, знала о нашем отличии и потому сходу ввела религиозный образ в полемику, чтобы вывести меня в ту плоскость, в которой я плаваю, и одержать быструю победу. Я мог рационализировать, поэтизировать и психологизировать сколько угодно, но все эти всплески разума меркли перед одним искренним, пусть заезженным, не новым сказанным словом. Что-то вечно — например, вера.

— Давай заново, я сдаюсь.

— Что, и это всё? — Улыбнулась Она.

— Ты мухлюешь.

— Там, думаешь, не будут?

— Эм, нет. — Тут же откликнулся я.

— Объясни.

— Наверное, наивно, но я полагаю, что человек никогда не врёт. Да, иронизирует, фантазирует, подменяет понятия или

лицемерит, но здоровое сознание не способно на ложь попросту органически.

— Разовьёшь мысль? А то пока не понятно.

— Да... — Я чуток поразмыслил. — Если кратко, то мы живём в материальном мире, и любой продукт человеческого организма, будь то мысль, песня, книга или, уж прости, отрывок — это логичное следствие цепочки причин. Иначе говоря, если мир вокруг реален, то и наши слова, даже самое наглое лукавство, имеют в нём место. Логика мира не врёт.

— Ещё больше запутал. Ты смотри, на самих дебатах поточнее слова подбирай, хотя бы связанные между собой мысли высказывай. А то будешь как Степан Трофимович — кричать в мире глухонемых.

«Бесы» были Её любимым романом.

— Ладно, придумай тогда ты тему. — Я почесал затылок.

— Потянешь?

— Сомневаешься?

— Хм... Что ты думаешь о войнах?

Здесь мои щёки подожглись, ведь к войнам я относился скорее философски, как к землетрясениям или цунами, нежели чем к патогену, который можно и следует навсегда искоренить. Можно сказать, что я, в отличие от Неё, всем сердцем болеющей за несчастных и обездоленных, был малость мизантропом и считал, что люди периодически устраивают узаконенные массовые убийства не за ресурсы, религию или во имя Отечества, нет, это политизация *Zeitgeist*'а, оправдания для паствы. На мой взгляд, основная движущая причина маховика насилия — обыкновенные скука и праздность, которые, если мирные времена длятся долго, вводят народы в апатию, делая их рыхлыми, а, значит, слабее. Вожди, конечно, читали Макиавелли и знают, что процветать их граждане могут только в сильном государстве, способном дать сдачи или ударить первым при нужде... И уже не важно, кто был агрессором, а кто провокатором или жертвой,

если заварушка началась, — пролитые слёзы и кровь, сломанные войной судьбы станут историей, материалом рефлексии современников и анализа потомков. Пока существует наука история, пока есть те, кто стремится остаться в её архивах, войны, наверное, будут всегда — уж прости, Джон Леннон, но show must go on. Убей их всех, и наступит покой — девиз, достойный командора.

— Войны это... политикогенные катастрофы. По типу техногенных.

— Не согласна. — Она вызывающе улыбнулась. — Ты обнуляешь ответственность тех, кто их начинает, списывая её на «так получилось».

— Ладно, тогда это меньшее из зол.

— Я бы предпочла не выбирать вовсе. Зло есть зло.

— Как не выбирала, рождаться ли тебе.

— Мимо.

— Окей, если вернуться к ответственности... На лиц, принимающих такие решения, давит её груз. Под давлением, когда времени всё меньше и меньше, а дело становится принципиальным, человек вынужден что-либо выбрать. В том числе меж двух зол.

— Ты рационализируешь.

— Возможно.

— Ох, как ты достал с этим «возможно»... Я хотела сказать, что убийство — это преступление. В случае войны убийцы не несут наказания, их напротив провозглашают героями.

— Нюрнбергский процесс тебе ни о чём не говорит?

— А имя «Ибрагим»?

Я прыснул со смеху.

— Если я ношу берет на голове, это не значит, что я мужчина или военный.

— Так ты и не носишь, — улыбнулась Она. — Ты шапку мою ждёшь.

— Пошутили и хватит. — Я продолжил. — Даже на войне есть правила, грани, которые нельзя переступать. Химическое оружие,

медицинские эксперименты над пленными по типу японских — всё это военные преступления.

— Война сама по себе преступление, как и любое убийство.

— Да нет же! Это естественно.

— Но безобразно.

— Это есть. Фильм «Апокалипсис сегодня» — безобразен?

— Не смотрела и не особо горю желанием.

— Ты ограничиваешь своё любопытство, свою тягу к познанию.

— Знание умножает скорбь.

— Если не находить ему применения.

Оба малость повысили тон. Мы говорили с Ней о политике впервые, и теперь я понимал, насколько сурово её влияние, сколь глубоко она проникла в людские умы, если даже семьи разваливаются из-за того, что взгляды на предмет не сходятся. Мы друг друга любили, принимали, и нам развод не грозил, но политика всегда ставит вопросы ребром: ratio или душа? Здравый смысл или милосердие? И так далее, и тому подобное: череда совершаемых выборов меж двух антиподов, длинная или короткая, приводит к очевидной истине — люди уникальны и равны разве что в принадлежности к homo sapiens. Составь свою личность в противопоставлении личностям Других — и обнаружишь, что процесс становления не имеет конца, кроме смерти. Не доводи до неё в своих поисках; выбери «быть».

— Я уверена, что главы стран — достаточно образованные, знающие люди.

— Бывают и парламентские республики.

— Также состоящие из людей.

— Их всех выбирает большинство! — Я чуть вспыхнул.

— Ты сам-то в это веришь? — Она усмехнулась. — Давай не разводить демагогию.

— Хорошо, — я смутился. — Я думаю, мы оба не можем смириться с тем, что в мире происходят войны.

— Шерлок.

— Просто у меня мужской взгляд на предмет, а у тебя — женский.

— Ты что, сексист?

— Нет, это биологические различия, на уровне хромосом.

— Да, ваша игрек — мутант-недоросток.

Кажется, я её задел.

— Извини, это было грубо.

— Да ладно.

— Истина дороже, да?

— Ты для меня дороже любой истины.

Мы обнялись.

— И всё же... У тебя нет ощущения, что мы не пришли к соглашению?

— А должны были?

— Разве не в этом суть дебатов?

— Нет. — Она чуть прикрыла глаза. — Суть дебатов выявить, кто более матёрый оратор.

— А у нас что получилось?

— Эмоциональная... полемика.

— Да... — Я вновь Её обнял. — Я тоже так думаю...

На утро я наспех собрался, едва не забыв поцеловать Её в щёку перед уходом, как привык, — никогда нельзя было сказать наверняка, действительно ли Она спит или притворяется спящей. Закинув в себя бутерброды с сыром, я почти справился с рассветным мандражом, который возникает всякий раз перед кажущимся ответственным мероприятием, — таковой охватил меня, и был он не всепробивающим, как при шахматном умопомрачении, нет, это была натуральная скулящая трусость, пробующая выть забитым зверем из бездонного колодца бессознательного. Но я знал, что страх не победить, а победа над страхом не в преодолении, но в мастерстве жить с ним — оттого

шагал по промозглому асфальту к метро с нажимом, пружиня, — ужимка моя не могла ускользнуть от Фортуны.

В сам символический триста третий кабинет, где помимо недавнего локального шахматного армагеддона раз в неделю имели место пары политических технологий, я ступил как Ганс Шнир на очередную сцену — смех и шутки закружились в голове венским вальсом, и юмор, кажется, был единственным оружием, способным уберечь меня от идейного растерзания.

Шутка Диоген-style: в чём отличие царя от чечевицы?

Конст болтал со старостой и его девушкой — трое удивились на момент, приметив меня в дверях, неловко поздоровались и вернулись к преддебатной болтовне. Марк и Диана сидели рядышком, спиной к двери. Илия сидел как всегда лицом к лицу к столу преподавателя, напротив, уткнувшись в заготовленную речь на двух листах а-четыре. Он исповедовал показную смелость отличника, выбирая место посадки и стиль академического поведения — притворись образцовым, и к тебе будет меньше вопросов, ты попадёшь как бы в слепое преподавательское пятно, и тебе дозволяется чуть больше обычного: подглядеть на проверочной, опоздать к паре и пр. Короче говоря, антипод моего разгильдяйского академического *modus operandi* — непременно везде опоздать, сесть за наиболее дальнее свободное место и лежать на столе лбом в сгиб локтя до конца занятия. По праву антипода этот модус тоже понижал ожидания — и, после месяца отсутствия, я чувствовал себя Германом, готовящимся фонтаном бить белым ввысь.

Преподаватель задерживался. Илия обернулся, заметил меня, поднялся с места и направился в мою сторону.

— Честно, мы думали, что ты отчислился, — начал он.

— А, да нет... — Я как-то смутился. — Были дела.

— Ну, в любом случае, рад тебя видеть. В шахматы обратно не собираешься? Мы всё ещё проводим...

Было заметно, как он ожидал моего вежливого отказа.

— Спасибо.

— Ладно, — Илия поторопился сменить тему, — ты приготовил что-нибудь к дебатам или как обычно?

— Как обычно.

— Ясно, — протянул он, — импровизация — мать успеха, да?..

— Господа коллеги, прошу извинить моё опоздание, — голос преподавателя, вдруг возникшего, подал каждому сигнал, и все шустро расселись по местам. — Думаю, и без того много времени потратили, поэтому можем сразу, без вступлений, начинать. Кто-нибудь чувствует смелость?

Я поднял руку — одновременно с каким-то безликим парнем. Мы вышли — он торопливо, я вразвалочку — к интерактивной доске, повернулись к собравшимся и наполовину к преподавателю.

— А здесь — опять же, уважаемые коллеги, прошу извинить, — преподаватель хищно зыркнул по аудитории глазами, перебив начавшего было заготовленную речь безликого-3, — чтобы мы совсем не заскучали от одинаковых заученных речей из круга в круг, предлагаю добавить перчинку спонтанности. Давайте так: я задаю тему, вам минута на поразмыслить и после — небольшая речь от каждого участника — скажем, на две минуты.

Аудитория разноголоса — кто-то разочарованно, кто-то удивлённо — вздохнула. Я почувствовал в себе жар закипающего мятежного духа...

— Вижу, что идея всем по нраву, — усмехнулся Герман (по иронии, имя преподавателя) Станиславович — что ж... тогда первая тема для смельчаков — «эзоповский язык». Нужно ли пояснение, что это есть такое?

Мы с безликим-3 переглянулись, как бы нащупывая молчаливое соглашение, зачиная соперничество. Класс застыл в странной тишине, как в морозилке кисель, готовясь впитывать первую кровь смельчаков, учиться на их ошибках. Наконец, прошла минута, и безликий-3, переминаясь на ногу с ноги, как-то неуверенно проронил:

— Хм, ну, насколько мне известно, эзопов язык берёт свой исток ещё в античности, когда раб по имени Эзоп в своих текстах впервые использовал иносказания и соломенные чучела, чтобы раскрыть в персонажах, ну, пороки господ, которых ему не позволялось критиковать, э-э-э... В славянской же среде эзопов язык пророс как явление — вроде как — около трёхсот лет назад и применялся в основном в баснях и околополитических памфлетах. Нельзя сказать, плох он или хорош, — это просто явление, инструмент. Вот, пожалуй, всё, что могу сказать.

Должно быть, мой первый оппонент был огорошен как обновлением регламента, так и темой, и оттого выдал речь на двадцать секунд вместо положенных двух минут, и, пока я дожидался своей очереди высказываться, мятежный дух во мне преобразался, фрактально переливаясь и трансформируясь, в священное чувство азарта.

Я прокашлялся для вида и выдал пассаж:

— Как по мне, язык Эзопа — сущность, которая витала в ноосфере, в коллективном бессознательном, задолго до наречения его, Эзопа, именем и, призванная покрывать несмелость нарратора, быть своего рода рупором, камуфляжем мысленного гласа, она нарушает первый — и хорошо известный собравшимся по курсу логики — принцип Оккама: «не плоди сущности, да не расплoжён будешь»... Прошу извинить фразеологическую нелепицу, однако она есть прямой симулякр, иллюстрация самой себя — к оригинальному постулату я намеренно присовокупил своё собственное дополнение — в нём, если приглядеться, может скрываться как махровый антинатализм,

так и вовсе безобидное ничто. В точности так, амбивалентно, дело обстоит с языком Эзопа. По-моему, вещи следует называть исключительно своими именами, дабы — прошу извинить внедрение очередной сущности — следовать кантовскому императиву, долгу честности, если угодно... Хм. Полагаю, не секрет, что конкретика заслуживает самой честной, дерзкой, чем-то наивной и прямой дефиниции — в обратном случае мы рискуем утонуть не в плодотворной дискуссии, а в собственных психических защитах: интеллектуализациях, рационализациях, отрицаниях и занятных других — вплоть до, уж извините, мордобоя. Эзопов язык, таким образом, можно смело считать ретроградным атавизмом — если речь о межличностном общении, а не криптографии. Учитесь говорить прямо! Благодарю, у меня всё.

Здесь, пока Герман Станиславович, поколебавшись, выносил свой вердикт в мою пользу, я почувствовал себя самозванцем — сердце, питаемое азартом, тахикардически забилося и, чем ближе дело подбиралось к финалу, тем тахикардичнее, рванее становился его ритм. Следующим моим оппонентом по теме «авторское право» был староста:

— Кхм, ну, я считаю, что авторское право необходимо запретить. На этом всё.

И стоит, улыбается, подмигнул мне...

...и казалось, было не столь важно, что говорилось обеими сторонами на тему авторского права, на тему теории и практики, на тему соперничества политики и религии — оппоненты уступали, пропуская вперёд по турнирному древу, реальность поддавалась, как застывшее масло под горячим лезвием, и напрасно я пытался поспевать за собственной мыслью: что авторское право есть подавление творческой интенции, в сингулярном конце которого — ноосферный цензурный тоталитаризм; что теория — прообраз, обещание практики — находясь в тщательных и тщетных пробах зафиксировать,

остановить, объяснить течение навечно изменчивой жизни, обречена; что религия, как инструмент управления народными массами, в отличие от политики провалилась с треском и проч., и проч. Тем было всего восемь, и когда с противоположной ветки турнирного древа ко мне подобрался Конст, и была озвучена тема — «критика» — я почувствовал, что вконец выдохся. Подступила трель паники, впилась в меня самозванным синдромом, пока Конст, то и дело поправляя съезжающие с переносицы очки узкими прямоугольниками, ваял речь:

— Критика, как мне это видится, есть надстройка над хаосом, происходящим в мире творчества, это, пусть хмурый и надменный, однако фактор роста, позволяющий инфантильному и беззубому творчеству дорасти до зрелого и самодостаточного искусства. Я полагаю, что критики — санитары культурного леса — в той же степени необходимы, как государство для страны...

И стоит — с таким видом, словно выслуживается перед начальством в лице Германа Станиславовича. Эта черта Конста — некоторое подобострастие, едва ли не раболепие перед авторитетом — конечно, вписывалась в его эпилептоидный (если угодно, ананкастный) характер, однако, проявляясь в наиболее вычурной, показной манере, свидетельствовала о вере в Конста в пресловутую оправданность цели любыми средствами.

— ...таким образом, допущение, что миры критики и творчества разделяемы, не выдерживает чего? Опять же, критики. На этом у меня всё, благодарю за внимание.

Я потёр виски, пробуя вернуться в состояние берсерка... Берсерки — худшие, наиболее ненадёжные бойцы из рядовой пехоты наедались до беспамятства галлюциногенными грибами, откуда черпали свою легендарную силу; и бросали их, берсерков, как цепных собак, в хвалёный жар битвы на верную гибель. В лучшем случае в неадекватном, индуцированно-психозном состоянии им удавалось забрать с собой десяток неудачников со стороны противника, но история знает, хоть и предпочитает

об этом умалчивать, тьму обратных ситуаций, где так называемый лучший воин в полной дезориентации кидался на собратьев, задорно отсекая им головы парными топорами. К чему это рассуждение? Пока я пытался настроить поток закипающей свободной речи, меня медицинским молоточком касалась неприятная, но правдивая мысль — режим берсерка отнюдь не романтичен, и жизнь в этом стиле, пусть ярка, но коротка. Как однажды сказал отец «нельзя, чтобы слишком уж долго везло, пока едешь по встречной».

— Что ж... Моя линия обороны будет такой. Полагаю, каждый из присутствующих сталкивался с тем, что идеологии, сущности, не имея физического носителя, как бы витая в ноосфере, претендуют на главенство и абсолютизм, на объяснение всего и вся, на заполнение, подобно газу, всего отведённого им пространства в умах. На самообъяснение. К примеру, если взяться за критику религии — будешь объявлен еретиком или душой заблудшей, если критика коснётся социализма — значит, ты либо недовольный пролетарий, либо враг революции. И так далее, и тому подобное. Критика, как идея, не избежала этой участи — любой оболтус может выдать своё предвзятое, скупое, напрасное мнение за критический взгляд, а возражения будут приняты за оправдания. Как по мне, критика — продолжение разума, универсальное орудие сомнения, но тогда и только тогда, когда этот самый разум не томится в плену стереотипов, идеологий, мемов и прочего, когда он кристально чист, если воззвать к Канту. Однако и последний, как нам известно по курсу философии, был раскритикован... Был, таким образом, найден предел для критики, после которого даже чистый разум теряет свою субъектность, свою цену. В прикладном, бытовом же значении, в переложении на жизнь нашу с вами, критикой пользуются для альтернативы социальному лифту в сферах, где она применима, — я лично нахожу это обыкновение как минимум квазиморальным, как максимум — очередным проявлением бесчеловечности. В конце концов, попросту вульгарно — приходить на шпажную дуэль

с пистолетом. Смело можно обновить прозвучавший минуту назад тезис — критика есть оружие, пистолет пустоты. На этом всё.

Я затих, нервно дожидаясь вердикта Германа Станиславовича, этого поборника карнавальной риторики, искусства допустимого, одного из тех многих, кто пытался взять общество за рога, оседлать и доить его... как видно, мой недобитый максимализм обострился и обнажил зубы — преподаватель тянул с выбором, непозволительно тянул, и в тщетном порыве тревоги я рассматривал класс — их лица ничего не выражали, ни толики улыбки; вглядывался в скучающе-торжествующее, в лоске самодовольства лицо Конста — и почуял, как от меня с плотью отрывается мой ангел-хранитель, шестикрылый серафим. Ожидание пыталось, секунды падали на лоб китайской каплей, и я успел проникнуться горьким преждевременным заключением — старательный бездарь предпочтительней таланта-раздолбая. Затем Герман Станиславович высказался:

— Ну что же, коллеги. Не могу не отметить... новаторство линии защиты последнего дуэлянта — равно как и приверженность первого консервативной риторике. Выбор действительно... непрост. Однако не стану тянуть: победил молодой человек слева.

И указал на Конста.

Поражение. Шаги до моей последней парты гулким током, вибрацией отражались по телу, так, будто пол был под напряжением, а я был в дырявых резиновых сапогах — и пусть это сравнение некорректно. Я поравнялся с девушкой старосты, уже идущей к доске, где Конст и не пробовал стереть триумфально-ядовитую ухмылку. Это было торжество конъюнктуры над импульсом, вынужденного медиокритета над аутентичностью, проверенных методов над новаторством; короче говоря, я проиграл — пусть логично и справедливо, однако сама суть моя, моя миссия оказались напрасными на этой земле. И тому стало очередное живое доказательство.

Герман Станиславович объявил тему, которую я оглушённый не расслышал, и класс совсем утих, пока девушка старосты и Конст готовили речи. Когда первым заговорил Конст, то по ключевым словам стала ясна тема — «социальные аспекты писательства» или просто «писательство»:

— ...считаю, таким образом, что писательству — в особенности, в современном состоянии — не обойтись без государственной поддержки: фонды, гранты для всенародных конкурсов, взять даже корочку так называемого «профессионального писателя». Союзы, как институт, очевидно не прошли проверку временем. Не спешите однако обвинять последний тезис в коллаборационизме — нет, соцветие мнений, стилей, мышлений при таком подходе, как было в одном Союзе, отнюдь не пропадёт — наоборот, каждый получит возможность, социальное поле для экспериментов, развития. Свобода творчества не будет задущена — напротив, столь хрупкой и чувствительной теме просто необходима сильная и заботливая рука, управление, грамотный менеджмент или, в сухом остатке, деловой подход к вопросу.

Слушая это крамольное святотатство, я чувствовал, как закипаю, как всегда закипал от шариковских, делаших претензий к вечным идолам и поползновений к их переделу и сокрушению. Вообще, я сохранял какое-то пароксическое отношение к искусству, в частности, к писательству, хотя давно принял решение его оставить; мне виделось, что никто из живущих и умерших (за исключением, быть может, пары имён) не имел права рассуждать об этой области, практиковаться в ней могли бы единицы, а уделом остальных остаётся воспринимать обёрнутые в слова космические сигналы, эйдосы прямиком из мира Платона (откуда родом и он сам), а все потуги человеческие постичь текст, разложить на составляющие, объяснить, применить эту вневременную, внепространственную стихию к своей человеческой повседневной исторической возне — это милые и убогие заявления пятилетнего ребёнка отцу, что, дескать, он уже выросл, самостоятелен и вправе голосовать на семейном совете.

Нет, текст бесконечно старше, в начале было Слово... Любые — свои в том числе — рассуждения об искусстве я считал заведомо ложными, полагал профанацией и блужданием в темноте зеркал — и ожидал от остальных, как минимум, того же самого отношения. Конст завершил речь и слегка поклонился, и я почувствовал — наверное, впервые в жизни — что хочу кому-то вмазать.

Затем была недлинная речь девушки старосты:

— Вы знаете — и я лично уверена, все согласятся, — в так называемую классику неспроста входит ограниченный, хоть и переменный корпус текстов. В своё время они становятся не просто прямым и достоверным отражением, слепком общества — не только. Они задают вопросы прошлому общества, они предлагают ответы будущему общества, над которыми впоследствии обязательно поразмыслит очередная пассионарная личность, жрец, знаменосец эпохи. Литература нема — здесь вы тоже не станете спорить, Хармс и его стихи, разбивающие стёкла, это абсурд от бессилия... Так вот, хоть литература и нема, она есть сердце культуры, и наша задача, то, за что мы несём последний ответ, — передать эстафету этого сердца будущим поколениям. Возможно, мысль романтическая — что значит лукавая — но я бы не смогла принять другой, менее трепетный и более практичный, подход к вопросу. Спасибо, на этом я закончила — если только не добавить, что...

— Господи, как же это всё жалко, предсказуемо, пусто и скучно!

Это воскликнул я, поднявшись с места и тяжело задышав. Девушка старосты прервалась и стала с любопытством меня оглядывать — как и остальные присутствующие. Герман Станиславович сложил пальцы домиком, как бы приглашая мой пыл наружу, и этого было вполне достаточно, чтобы вмиг меня урезонить и пыл обнулить; класс умолк и замер, ожидая продолжения. Отступить было поздно, и я... всё-таки отпустил вожжи, шагнул к гильотине, позволил свободной речи необъяснимого, загробного гнева литься, в примерно такой форме:

— Литература, как и всякая сфера культуры, это не жизнь и не её отражение, это тоска и фантазия, пустое и брренное под маской претензий на память, в отдельных случаях — на вечность, это всего лишь трусость человеческая, банальное недержание, неспособность держать язык за зубами, перо в ножнах. Писать следует не для публики или партии, не для поколений, грядущих и прошлых, не для чужих и любимых, а исключительно и только лишь для себя — возводить эти своды ирреального, пенаты для мысли, дом, который построил сам. К чему неточные, кривые, непременно искажённые переводы опыта в текст, зачем вы боретесь, мистер Бродский? Ничто реальное не достойно быть воспетым в буквах, и носители пера прекрасно осознают, какое совершают преступление, рассказывая истории о том, чего не было, нет и никогда не будет рядом, взятые из головы пероносца, осенённого гордецом-Люцифером. Паническая боязнь смерти вынудила нас строить цивилизацию буквально на костях и пепле, на нескончаемых жертвах и непреходящем страдании, смерть, этот пожизненный дамоклов меч над нашими головами — разве не ясно, что он, будто кнут, есть единственное, что гонит нас по окружности Сансары, по фракталу страданий? Нет причины жить действеннее, чем знание о смерти, — и так невыносима мысль о ней, что мы готовы наблюдать, даже организовывать низвержение, унижение, убийство Другого, лишь бы самим не оказаться на его месте! И, конечно, конечно же приходится выдумывать пряник, ведь иначе соблазн оборвать дамоклов волосок становится слишком сладок, жизнь на краю абсурда — прижизненная смерть — но первичен в этой аллегории отнюдь не пряник, а кнут и только кнут. Всё выдумка, пустое, ваша напускная серьёзность меня раздражает не меньше, чем то, что вы все — а я уверен, вы все на что-нибудь полагаетесь, чаёте чего-то, на что-то надеетесь... раздражает не меньше, чем то, что вы верите, что вы последовательны и реальны, что толкаете падающих вроде меня пачками и остаётесь к этому жестокому факту так же безразличны, как и ко снам поутру. Я не хотел превращать свою тираду в исповедь и уж тем более не хотел ею никого задеть, но услышьте, услышьте, пожалуйста — наша жизнь, наша

реальность и есть литература, которую вы всё тщитесь найти в книжонках меж строк, каждый из нас литератор, нет отныне разделения на объект и его интерпретацию, на явление и его трактовку, нет, теперь нас окружает один только текст — представьте хоть пока я не заткнулся, что это единственная истина. Каждый удар ближнего по щеке, каждый акт насилия — не более чем сгусток букв, как и милосердие, красота, смерть и любовь. Пожалуйста, перестаньте строить из себя имеющих окончательную позицию, оправдывать её наличие опытом и убеждениями — пока мы живы, пока не замерли во смерти окончательно, не бывать отныне серой статике, не бывать чёрной крови, междоусобицам, горю и умерщвлению. Я заклинаю вас: творите — тогда и «время», и «смерть» обернутся лишь словами, одними из тьмы, золотой и необъятной.

XVIII

*«I want your death
You want my life»*

Robert Smith

Вряд ли кто-либо адекватный ожидает услышать на политических дебатах прокламацию о том, что жизнь это литература. Глупая самонадеянность, как Орфея в ад, привела меня к ожидаемому провалу, после которого, конечно, не последовало ни гарантий, ни признания — ничего ровным счётом. Каждой такой эпатажной выходкой на протяжении жизни — что тогда, что сейчас, пусть на корабле возможности чудить в сравнении сужены, — я пытался доказать миру, что тоже достоин быть его частью, как и те, кто на выходки не готов или не способен. Нонконформизм — никогда не выбор.

Зачёт получили, впрочем, все пришедшие — одной учебной морокой стало меньше.

Когда я вернулся, Ей захотелось «поговорить» — как правило, за этим спустя недолгое и эскалирующее, как Вавилон, обсуждение, следовали скандалы, и, по возвращении домой после позора, я был настолько истощён напраслиной очередного явления своего характера миру, что мне — что мне и несвойственно — тоже хотелось поругаться.

Начала Она безобидно, с вопроса:

— Ну что, всех там одолел?

— Всё штатно.

— То есть зря готовился?

— Выходит, что так. Стоило вообще не готовиться.

— Ты б тогда ещё крупнее опозорился. — Протянула Она.

Здесь я понял, что меня дразнят, и ситуация ровно такая, как я предполагал, пока поднимался по лестнице домой. Ругаться сил не было, но это было необходимо, посему...

— Думаю, не больше, чем ты на наших тренировочных.

— Что ты этим хочешь сказать? — Подняла Она бровь.

— Ровно то, что сказал.

— Ты берега-то не попутал? Алконавтище, — протянула Она в ответ. — Ты здесь, потому что я тебя простила, не нарывайся.

— Иначе что?

— Иначе сразу укачишься к себе и в этот раз точно сопьёшься.

— Ты же знаешь, что это пустая угроза.

— Я лично не знаю, как и ты. Не выделяйся, ты не на людях.

— Ты не человек?

Она вдруг надолго замолчала. Затем, уже с большей остервенелостью ядовито кинула, сменив стратегию с провокации на изображение себя задетой:

— Когда ты в последний раз интересовался моими делами? Моим самочувствием? Моими мыслями?

— Э-э-э... — Осёкся я. — О чём думаешь?..

— Сейчас-то уже поздно. Я вот уверена, что знаю твои мысли.

— Ну и о чём же я думаю? — Насмешливо улыбнулся я.

— О себе, о чём ещё. Ох, какой я молодой и несчастный, ах, никчёмные людишки, ещё эта баба — ты же наверняка сексист — мозги выкручивает... Эх, вот если бы мне все ресурсы мира, да я б стал его самым мудрым и заботливым властелином... Угадала?

— Всё мимо, — соврал я.

— Мне-то хоть не ври, себе врать ты мастер. — Продолжила Она. — Тебе ведь даже на брата твоего по большому счёту наплевать — ты использовал его как повод и погрузился в себя по локоть. Играешься в шахматы с зеркалом, ну или с образом брата, без понятия, как ты это воображаешь. И всё внутри тебя такое драматичное, философское и пафосное, что ты не отрываясь

глазеешь на себя и не находишь ни минуты на заботу о самом близком. Обо мне.

— Вообще-то я нам деньги зарабатываю. На еду. — Отметил я как-то обиженно.

— Ну, и что мне с этих копеек? Не как шейхи живём. За квартиру я плачу с пенсии, а ты? Ну, да, благодаря тебе у нас есть йогурты и чай. Велика заслуга.

— К чему ты клонишь? — Надавил я.

— К тому, что не очень ты меня и любишь. Ты только себя любишь, в этом вся тайна и печаль.

Повисло длительное молчание. Я нарушил его, собравшись с мыслями, — да, действительно, Она попала каждой репликой, как стрелой в прореху доспеха, прямиком в мои болевые точки.

— Что ж. — Снова молчание; Она было снова открыла рот, но я перебил жестом. — Мы с тобой ровесники. Ты сейчас рыжая, хотя натуральный цвет твоих волос — медно-каштановый, ближе к русому. Летом ты хотела перекрасить меня под такой же цвет, но не вышло. Твоя физиологическая норма сна — ровно девять часов, меньше и больше даже на пять минут тебе спать некомфортно. Ты получаешь пенсию на карточку того же банка, в котором оформлена фирма моего отца. Ты потягиваешься утром так резко, что едва не даёшь мне оплеуху каждый раз. Я уверен, что ты делаешь это нарочно. Вообще, все рефлексy у тебя обострены — наверное, из-за твоего воспитания. Ты говоришь, что пьёшь чай исключительно без странных фруктовых наполнителей, но на самом деле любишь тянуть его из пачки, которую я покупаю себе, — а я ворую из твоей. Ты любишь дурацкие турецкие сериалы на двести шестьдесят серий и пять сезонов, хотя в них ничего не происходит, а то, что происходит, неказисто и нелогично — примерно как наш с тобой союз. У тебя потрясающий вкус в одежде, и я до сих пор понятия не имею, как ты умудряешься подобрать вещи и мне, потому что по магазинам ты ходишь одна. Продуктовые ты наоборот недолюбливаешь и оставляешь это бремя мне. Ты любишь сострадать выдуманным персонажам

больше, чем реальным, — чего стоят «Поющие в терновнике», которыми ты мне уши прожужжала в наш первый месяц. Твоё сострадание, впрочем, не знает границ, потому что ты по-настоящему верующая, в отличие от меня. Тебе, в отличие от меня, нравится театр. Ты хорошо готовишь, лучше меня. Тебе вообще не нравится моя музыка, несмотря на то, что мы с тобой делаем её вместе. Ты жертвенная, как я. И любишь меня, как я тебя. Мне продолжать?

Она как-то исподлобья, виновато глядела на меня, не произнося ни слова в ответ. Я догадался приблизиться и обнять.

— Ты же это всё из головы взял, для очередного шоу, да?

— Я в чём-то ошибся?

— Всё мимо, — улыбнулась Она, и я почесал Её по макушке.

Поцеловались.

XIX

*«And it haunts me each night
In its dark, darky sky»*

David Lawrence

Допустим, я несчастлив. Но пока не было никого, кто убедительно опроверг бы мультимодальность мира, наличие нескольких осей помимо счастья: красоты, этики, долга, разума, мучения, в конце концов, как прямой оппозиции счастья. Вероятно — и вполне — что руководствоваться одним только счастьем — обречённая, гиблая затея, ибо есть повинности, проекты, планы и амбиции; ежели нет, то их следует создать, чтобы, не добившись спасения, хотя бы развлечься до прихода смерти, опаздывает она или спешит.

Да, я несчастлив, но мне ещё есть, чем здесь заняться.

Допустим, я в умеренной — всему своя мера — депрессии. Но пока я строго отделяю пространство мысли от пространства реального, которое я делю с остальными представителями человечества, пока не позволяю ни единой протечки первого во второй, даже самая гнусная, чудовищная интенция останется в концептуальных ножнах, самый рьяный, разрушительный порыв останется в патроннике, самое вероломное стремление извести себя, изничтожить — останется круглым сиротой. Всякому ступившему за грань познания, вкусившему запретный божественный плод, ослепшему от сияния центра Вселенной, вероломно возникшему в грёзах, всё равно не спастись, не вызволить себя из ловушки первопричин и их теней — следствий. Равно как не спастись, не вызволить себя и далее по списку любому на подбор функционеру: католику, мамочке,

маньяку, комиссару, снайперу, гадалке, пожарному, вдове, олигархине, судье, инди-режиссёру, журналисту.

Да, мы смертны, но мы ещё живы.

Допустим, я ставлю себе в укор собственную личность — сгорбленное, требовательное, капризное трёхсоставное нечто, что повинно в моих неудачах и страданиях. Но пока не составлена универсальная пищевая цепочка, всякий — даже убогий и ущербный — может быть непревзойдён в своём уникальном взгляде на жизнь, мыслях, навыках, потенциале. Это сердце гуманизма. Вероятно, я не наиболее глубокий, стильный, чувствительный, последовательный, понимающий, проницательный, привлекательный, влиятельный и талантливый человек в истории, но мегаломания — как любая аномалия или абберрация, вибрация полуплотных границ трёх внутренних государств — мешает мне. Как гроб из кирпичей ровно в мой рост — ergo, я буду раскапывать эти кирпичи хоть чайной ложкой, хоть ногтями, стирая последние в кровь.

Да, черви сожрут меня быстрее, но я хотя бы сгину, попытаюсь.

Допустим, я лгун и симулянт. Когда одно из трёх вечно враждующих, на грани с гражданской войной государств внутри спрашивает, чем я лучше, чем Кто-Либо С Большой Буквы, я вспоминаю Дэвида Фостера Уоллеса, прожившего шестнадцать лет в тяжелейшей эндогенной органической большой депрессии. Он повесился под конец, но я готов спорить с кем угодно, что в его шкуре оппонент пари продержался бы секунд двадцать. Двадцать секунд, шестнадцать лет. Депрессию вовсе не обязательно лечить — с ней можно жить, как с пожизненным конкурентом, где финальный приз — твоя жизнь; полюбить её и даруемые ей отчуждённость и нонконформизм. В этом бытие есть уникальный интерес, доступный не каждому: чтобы в ослеплении скучно не жилось, обманываться стоицизмом, пьянеть от абсурдизма, переживать нигилизм, созерцать космический пессимизм,

смеяться над научным позитивизмом, ломать голову, пробуя отличить структуралистов и постструктуралистов, побаловаться возведением собственного -изма. Вовсе не обязательно скатываться в инфантилизм и беспомощность, когда ты в депрессии, — настоящие джентльмены втайне мечтают застрелиться, хотя бы из соображений художественного акта, а сами целуют жену и провожают детей в школу по будним утркам. Рвись и надрывайся, разлетайся осколками или бабочками, склеивай и склеивайся, впечатляйся и впечатляй — и пусть погаснет ад, и небеса дрогнут в день, когда ты умрёшь.

Да, я вряд ли стану счастлив, но я влюблён в выпавшую мне жизнь.